

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 12

1987



Николай ЧУКОВСКИЙ

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»

ПРАВДА И ПОЭЗИЯ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 12

Николай ЧУКОВСКИЙ

ПРАВДА И ПОЭЗИЯ

Из воспоминаний

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1987

Николай ЧУКОВСКИЙ

Николай Корнеевич Чуковский (1904—1965) родился в Одессе в семье известного писателя Корнея Чуковского. Учился в университете и в Институте истории искусств, который окончил в 1930 году.

Начинал свою литературную деятельность как поэт, но позже перешел на прозу, хотя работу над стихом не оставлял никогда и до конца жизни занимался поэтическими переводами. До войны вышло несколько его повестей и сборников рассказов.

В 1941 году Чуковский был мобилизован в качестве военного корреспондента и большую часть войны провел в осажденном Ленинграде, среди морских летчиков. Наблюдение над их героической жизнью дало ему огромный материал для работы. Он писал на эту тему много, но, пожалуй, самым известным произведением стал его роман «Балтийское небо», вышедший в 1954 году и несколько раз переиздававшийся.

ЧТО Я ПОМНЮ О БЛОКЕ

1. Я видел Блока

Александра Блока я увидел впервые осенью 1911 года. В 1911—1912 годах мы жили в Петербурге, на Суворовском проспекте. Мне было тогда семь лет. Я помню вечер, дождь, мы выходим с папой из «Пассажа» на Невский. У выхода папа купил журнальчик «Обозрение театров», памятный для меня тем, что в каждом его номере печаталось чрезвычайно мне нравившееся объявление, на котором был изображен маленький человек с огромной головой: он прижимал палец ко лбу, а вокруг его просторной лысины были напечатаны слова: «Я знаю все!»

Блока мы встретили сразу же, чуть сошли на тротуар. Остановясь под фонарем, он минут пять разговаривал с папой. Из их разговора я не помню ни слова. Но лицо его я запомнил прекрасно — оно было совсем такое, как на известном сомовском портрете. Он был высок и очень прямо держался, в шляпе, в мокром от дождя макинтоше, блестящем при ярком свете электрических фонарей.

Он пошел направо, в сторону Адмиралтейства, а мы с папой налево. Когда мы остались одни, папа сказал мне:

— Это поэт Блок. Он совершенно пьян.

Вероятно, я и запомнил его только оттого, что папа назвал его пьяным. В нашей непьющей семье мне никогда не приходилось встречаться с пьяными, и пьяные очень волновали мое воображение.

В следующий раз я его увидел году в восемнадцатом и потом неоднократно видел вплоть до двадцать первого года. Это был совершенно новый Блок. Мне казалось, что от того Блока, которого я видел в 1911 году, не осталось ни одной черты — так он изменился. Он больше нисколько не был похож на сомовский портрет. Он обрюзг, лицо стало желтым, широким, неподвижным. Держался он по-прежнему прямо, но расплывшее тело с трудом умещалось во френче, который он но-

сил в те годы. Впрочем, я видел его и в пиджаке. Теперь он казался высоким, только когда сидел: когда он вставал, он оказывался человеком чуть выше среднего роста.

Помню, как он читал «Соловьиный сад» в «Доме поэтов» — учреждении, существовавшем в Петрограде летом и осенью 1919 года. Этот «Дом поэтов» помещался на Литейном, в том здании, которое известно старым ленинградцам под названием «дома Мурузи». Дом Мурузи должен был быть хорошо знаком Блоку потому, что в нем продолжительное время жили Мережковский и Гиппиус. Впрочем, в годы революции их там уже не было — они переехали на Сергиевскую, к Таврическому саду. «Дом поэтов» занимал в доме Мурузи небольшой зал, отделанный в купеческо-мавританском стиле, и еще две-три комнаты, служившие фойе.

Чтение «Соловьиного сада» происходило почему-то днем — я хорошо помню, что свет падал из окна и за окном было солнце. Мне было пятнадцать лет, я знал большинство стихотворений Блока наизусть и боготворил его. Ни одно явление искусства никогда не производило на меня такого впечатления, как в те времена стихи Блока; я все человечество делил на два разряда — на людей, знающих и любящих Блока, и на всех остальных. Эти остальные казались мне низшим разрядом.

Я уселся в первом ряду; никакой эстрады не было. Блок сидел прямо передо мной за маленьким столиком. Читал он негромко, хрипловатым голосом, без очень распространенного тогда завывания, с простыми и трогательными интонациями:

Как под утренним сумраком чарым
Лик, прозрачный от страсти, красив...

Чтение длилось недолго. Когда он кончил, я, потрясенный, первым выскочил в фойе. Я так взволновался, что мне захотелось побыть одному.

Чтение Блока слышал я не раз, и всегда оно потрясало меня. Помню, как он читал «Что же ты потупилась в смущеньи?» в так называемом «Доме искусств» (Мойка, 59). Было это несколько позже — в двадцатом году или в самом начале двадцать первого. Он стоял на невысокой эстраде, где не было ни стола, ни кафедры, весь открытый публике и, кажется, смущенный этим. Зал был пышный, с лепниной на белых стенах, с канделябрами в два человеческих роста, с голыми амурами на плафоне. Блок читал глухим голосом, медленно и затрудненно, переступая с ноги на ногу. Он как будто с трудом находил слова и перебирал

ногами, когда нужное слово не попадалось. От этого получалось впечатление, что мучительные эти стихи создавались вот здесь, при всех, на эстраде.

Помню в этом же зале и чтение блоковских «Двенадцати» — тоже в году двадцатом. Читал не Блок, а его жена Любовь Дмитриевна, Блок же только присутствовал на эстраде. На этот раз там стоял столик, ничем не покрытый, Любовь Дмитриевна находилась позади столика, а Блок сидел сбоку на стуле, печально опустив голову и обратив к публике свой профиль. Любовь Дмитриевна читала шумно, театрально, с завыванием, то садилась, то вскакивала. На эстраде она казалась громоздкой и даже неуклюжей. Ее обнаженные до плеч полные желтоватые руки металась из стороны в сторону. Блок молчал. Мне тогда казалось, что слушать ее ему было неприятно и стыдно.

В те времена Горький был председателем «Дома искусств», а членами правления были и Блок, и мой отец. Отец мой был, по-видимому, очень деятельным членом правления и потому имел позади библиотеки комнатку для занятий — нечто вроде служебного кабинета. В январе 1921 года мой брат и моя сестра заболели скарлатиной, и меня, чтобы уберечь от заразы, родители переселили в «Дом искусств», в этот «папин кабинет». Но уже через несколько дней заболел и я. Не знаю, была ли это скарлатина, но проболел я довольно долго и, главное, долго провалялся, потому что и тогда, когда мне стало лучше, меня никуда не пускали, чтобы я не разносил заразы. В то время затевался журнал «Дом искусств», редакция которого состояла из Горького, Блока и моего отца. Им удалось выпустить всего два номера журнала, но собирались они часто и трудов положили много.

Одно заседание редакции состоялось как раз в той комнате за библиотекой «Дома искусств», где я, выздоравливая, лежал в кровати. Блок пришел первым и, кажется, удивился, увидев меня. Спросил, будет ли здесь Корней Иванович. Негромкий, словно затрудненный голос его звучал глухо. Я, заранее предупрежденный, сказал ему, что отец просит подождать. Блок сел на кровать у моих ног, опустил голову и не сказал больше ни слова.

Так прошло по крайней мере минут сорок. Темнело. Я смотрел на него сбоку. От благоговения и робости я не осмеливался заговорить, не осмеливался двинуться. Сгорбленный, с неподвижным большим лицом, печально опущенным, он был похож в сумерках на огромную птицу. Не знаю, думал ли он или дремал. Отец и Горький очень запоздали, но наконец пришли — оба. Отец включил свет, громко заговорил. Блок поднялся и пересел к столу.

Примерно в это же время Блок однажды посетил студию «Дом искусств» и руководимый Николаем Степановичем Гумилевым семинар поэзии, в котором я тогда занимался в качестве «студиста». Статья Блока «Без божества, без вдохновенья», в которой он выступил против всей поэтики Гумилева, не была еще написана. Но мы, «студисты», знали, что отношения между Блоком и Гумилевым неважные. Гумилев на занятиях иногда разговаривал с нами о стихах Блока, и в словах его, сдержанных, сквозила враждебность. В глазах молодежи, посещавшей «Дом искусств», Блок и Гумилев были соперники, борющиеся за первое место в русской поэзии. Любители поэзии делились на сторонников Блока и сторонников Гумилева. Конечно, сторонников Блока в широких кругах молодежи было больше, чем сторонников Гумилева. Но в кругах, тяготевших к «Дому искусств», преобладали сторонники Гумилева. А уж в семинаре, руководимом Гумилевым, все были его сторонниками — кроме меня. Для меня Блок был выше всего на свете.

Блок явился к нам на семинар в сопровождении двух женщин. Помню, одна из них была его тетка Мария Андреевна Бекетова. Кто была вторая, я забыл; может быть, и не знал. Мы, «студисты», человек двенадцать — пятнадцать, сидели вокруг стола, и перед нами лежали расчерченные таблицы, которыми, согласно учению Гумилева, следовало руководствоваться при писании стихов. Стол, стоявший посреди комнаты, был узкий и длинный, и возле узкого его края спиной к двери сидел Гумилев — в длинном сюртуке, в твердом накрахмаленном воротничке, задиравшем его голову кверху. Когда вошел Блок со своими спутниками, он повернулся и встал. Блок и его дамы уселись не за стол, а на стульях, стоявших у стены. Гумилев опять занял свое председательское место. Решено было, что «студисты» прочтут свои стихи.

Читали обе сестры Наппельбаум, Константин Вагинов, Даниил Горфинкель и, вероятно, еще кто-то. Я, к счастью, не читал. Блок слушал хмуро, с брезгливым вниманием. Он не сделал ни одного замечания, ничего не похвалил. Только время от времени просил:

— Еще.

Ему читали еще, а он слушал все так же хмуро.

Кое-кому из читавших задавал он вопросы, но вопросы эти к стихам непосредственного отношения не имели. Фредерику Наппельбаум, например, он спросил:

— Что вы больше всего любите?

И она ответила:

— Ветер.

Пробыв у нас около часа, он ушел с обеими дамами. Так как всем было ясно, что стихи ему не понравились, а между тем все ему прочитанное на семинаре признавалось самым лучшим, то, естественно, участники семинара пришли в недоумение. Глаза Николая Степановича, обычно торжественные, поблескивали насмешливо, и было решено, что Блок либо не понимает в стихах, либо просто относится к «студистам» недоброжелательно.

Потом я видел его только однажды — на посвященном ему вечере в большом Драматическом театре на Фонтанке. Стояла мокрая, грязная весна. Театр был полон взволнованной толпой. Отец мой прочитал свою статью о Блоке. Потом читал Блок. Я сидел в далекой ложе, и слабый голос его едва до меня доносился через огромный театральный зал. Блок показался мне на этот раз похудевшим и как бы уменьшившимся.

О смерти его я услышал в Псковской губернии, в бывшем гагаринском имении Холомки. Я плакал весь день. Мой приятель и однолеток князь Петя Гагарин, никогда до тех пор не слыхавший о Блоке, спросил меня:

— А что, Блок твой родственник?

2. Блок и русский денди

Есть у Блока статья — «Русские дэнди», — написанная 2 мая 1918 года. В этой статье Блок рассказывает, как первой революционной зимой он принял участие в каком-то благотворительном вечере и как в артистической встретился с каким-то молодым человеком. Он пишет:

«...Барышня попросила молодого человека прочесть стихи в этой интимной обстановке.

Молодой человек, совершенно не жеманясь, стал читать что-то под названием «Танго». Слов там не было, не было и звуков; если бы я не видел лица молодого человека, я не стал бы слушать его стихов, представляющих популярную смесь футуристических восклицаний с символическими шепотами. Но по простому и серьезному лицу читавшего я видел, что ему не надо никакой популярности и что есть, очевидно, десять — двадцать человек, которые ценят и знают его стихи. В нем не было ничего поддельного и кривляющегося, несмотря на то, что все слова стихов, которые он произносил, были поддельные и кривляющиеся».

Через страницу Блок продолжает:

«Нам с молодым человеком было не по пути, но он пошел прово-

жать меня с тем, чтобы рассказать мне таким же простым и спокойным тоном следующее:

— Все мы — дрянь, кость от кости, плоть от плоти буржуазии.

Во мне дрогнул ответ, но я промолчал.

Он продолжал равнодушно:

— Я слишком образован, чтобы не понимать, что так дальше продолжаться не может и что буржуазия будет уничтожена. Но, если осуществится социализм, нам останется только умереть: пока мы не имеем понятия о деньгах; мы все обеспечены и совершенно не приспособлены к тому, чтобы добывать что-нибудь трудом. Все мы — наркоманы, опиисты: женщины наши — нимфоманки. Нас — меньшинство, но мы пока распоряжаемся среди молодежи: мы высмеиваем тех, кто интересуется социализмом, работой, революцией. Мы живем только стихами; в последние пять лет я не пропустил ни одного сборника. Мы знаем всех наизусть — Сологуба, Бальмонта, Игоря Северянина, Маяковского, но все это уже пресно: все это кончено; теперь кажется, будет мода на Эренбурга.

Молодой человек стал читать наизусть десятки стихов современных поэтов. Дул сильный ветер, был мороз, не было ни одного фонаря. Мне было холодно, я ускорил шаги, он также ускорил; на быстром шагу против ветра он все так же ровно читал стихи, ничем друг с другом не связанные, кроме той страшной опустошающей душу эпохи, в которую они были созданы.

— Неужели вас не интересует ничего, кроме стихов? — почти произвольно спросил наконец я.

Молодой человек откликнулся, как эхо.

— Нас ничего не интересует, кроме стихов. Ведь мы — пустые, совершенно пустые.

Я мог бы ответить ему, что если все они пусты, то не все стихи пусты; но я не мог так ответить, потому что за его словами была несомненная искренность и какая-то своя правда...»

В конце этого разговора молодой человек сказал Блоку:

— «Вы же ведь и виноваты в том, что мы — такие.

— Кто — мы?

— Вы, современные поэты. Вы отравляли нас. Мы просили хлеба, а вы нам давали камень.

Я не сумел защититься; и не хотел; и ... не мог. Мы простились — чужие, как встретились...»

Я хорошо знал этого молодого человека, о котором Блок рассказы-

вает в своей статье. В течение многих лет он был моим ближайшим другом. Звали его — Валентин Иосифович Стенич.

Впрочем, подружился я с ним лет через семь после его встречи с Блоком. Но, зная его, я хорошо представляю себе, каким он был тогда, в начале 1918 года, двадцатилетним юнцом. И он сам неоднократно рассказывал мне об этой встрече.

Он благоговел перед Блоком, знал все им написанное наизусть — все три тома стихотворений, и поэмы, и пьесы. Для него Блок был гений, и притом из всех гениев человечества — наиболее близкий ему душевно; когда он читал кому-нибудь стихи Блока, он поминутно снимал очки, чтобы вытереть слезы. Встреча с Блоком была для него грандиозным событием. Тем, что Блок написал об этой встрече целую статью, он гордился до последнего своего дня.

— Все-таки мне удалось его обмануть! — восклицал он восторженно.

Конечно, вначале он надеялся не обмануть Блока, а восхитить. И начал он с того, что стал читать Блоку свои стихи. Но сразу почувствовал, что совершил ложный шаг — стихи Блоку не понравились. Тут оказалось, что Стеничу было всего двадцать лет — будь он постарше, он не сделал бы подобной ошибки. Но в двадцать лет считать свои стихи хорошими простительно даже очень умному человеку. Почувствовав, что восхитить Блока он не в состоянии, он решил его хотя бы поразить. И это ему удалось — но с помощью обмана.

Обман заключался в том, что он представил Блоку вместо себя вымышленный образ, не имевший ничего общего с реально существующим Стеничем. Он сказал: «Если осуществится социализм, нам останется только умереть». А между тем он был яростным сторонником социализма и через месяц после разговора с Блоком вступил в большевистскую партию и уехал на фронт на Украину, где провоевал всю гражданскую войну в Красной Армии. Он сказал: «Все мы — наркоманы, опиисты!» А между тем он никогда в жизни не употреблял никаких наркотиков и даже к спиртным напиткам прибегал редко. Он страстно любил стихи, но вовсе не стихи Бальмонта. И неправда, что он любил только стихи, — он жадно и деятельно интересовался всем, что происходило вокруг него, и любил лишь такие стихи, в которых отражалась жизнь. Из старых поэтов он любил Пушкина — он мог прочесть наизусть всего «Евгения Онегина», ни разу не сбившись, Лермонтова, Некрасова, Тютчева, Полонского, то есть тех самых, которых любил Блок. Из поэтов начала XX века он выше всего ставил Блока и любил — впрочем, значительно меньше — Сологуба, Ахматову, Маяковского, Мандель-

штама. Впоследствии он влюблялся в стихи Александра Прокофьева, Бориса Корнилова, Павла Васильева, Заболоцкого, раннего Твардовского, и когда он сказал Блоку, что «мы — пустые, совершенно пустые», и это «вы, современные поэты», сделали нас такими, — это был обман, чистейший вымысел.

Обман этот полностью удался. Он удался потому, что предложенный Блоку вымышленный образ чрезвычайно Блока взволновал и растревожил. Он до того его взволновал, что Блок о своей мимолетной встрече с двадцатилетним мальчишкой три месяца спустя написал целую статью, и не просто статью, а статью, полную мучительной полемики по самым болезненным для Блока вопросам. Блок, только что написавший «Двенадцать», ненавидевший буржуазию и проклинаемый всеми своими бывшими друзьями как отступник, терзался сомнениями и в том, правилен ли был весь его прежний путь, и в том, правилен ли путь новый и не кончится ли вместе с буржуазией культура. Февраль 1918 года был самый трудный момент его жизни. И Валя Стенич, мгновенно отгадав, что творится у него в душе, предстал перед ним как демон-искуситель. Он ворвался в эту замкнутую, предельно сложную, для всех других неясную душу и рассчитанно, без промаха, говорил именно то, что могло причинить этой душе боль. Он произносил вслух те самые мысли, которые Блок гнал от себя. Блок победил искушение. Но Стенича запомнил крепко.

Для такого искушения нужен был большой ум. И дар понимания чужой души, даже самой сложной.

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ

В годы первой мировой войны я видел Маяковского так часто, что память моя не в состоянии отделить одного его посещения от другого. Он постоянно торчал у нас в нашем куоккальском доме. Лето пятнадцатого года он прожил у нас, но и тогда, когда он жил в Куоккале и других дачах, он почти ежедневно обедал у нас, а когда жил в Петербурге, приезжал к нам по воскресеньям со своими приятелями — Василием Каменским, Бенедиктом Лившицем, Хлебниковым и Кульбиным.

Припоминая разговоры тех времен, я понимаю, что его тогдашнее тяготение к жизни в Куоккале было каким-то образом связано с уклонением от воинской повинности. Я уже тогда знал, что уклоняется он от солдатчины не из трусости, а оттого, что ненавидит войну. Маяковский

был первый человек, не зараженный воинственным шовинизмом, которого я увидел.

Если не ошибаюсь, впервые они приехали к нам из города втроем — Маяковский, Каменский и Лившиц. Мне тогда было лет одиннадцать. Они потрясли мое воображение и восхитили меня, — три красавца, высокие, молодые, громкоголосые, веселые. Больше всех в тот проезд мне понравился Василий Каменский. Он был самый шумный из всех и, кроме того, он был летчик или, как тогда говорили, авиатор. За ужином он рассказывал что-то удивительное о полетах, а потом громовым голосом читал своего «Стеньку Разина»:

Сарынь на кичку, ядерный лапоть!

И одет он был не обычно, а в какую-то особую куртку из светло-коричневой кожи, придававшую ему особенно мужественный вид. И русые кудри его вились, и белые зубы блистали. Восхищался им не один я — Илья Ефимыч Репин, тоже сидевший за столом, смотрел на Каменского с умиленным восторгом, а когда тот кончил читать, расхвалил его безудержно, с множеством восклицаний. Репин вообще любил хвалить и восхищаться, и его похвалы, насколько я помню, были всегда так же гиперболичны, как и его порицания.

Но затмить Маяковского Каменскому удалось только в один этот проезд. Потом Маяковский воцарился у нас за столом и, в сущности, в течение двух лет царил за ним один безраздельно.

«Облако в штанах» он писал, живя у нас. То есть не писал, а сочинял, шагая. Я видел это много раз. Записывал же значительно позже.

Наш участок граничил с морским пляжем. Если выйти из нашей калитки на пляж и пойти по берегу моря направо, то окажешься возле довольно крутого откоса, сложенного из крупных, грубо обтесанных серых камней, скрепленных железными брусками. Это массивное сооружение носило в то время название Бартнеровской стены, потому что принадлежало домовладельцу Бартнеру, не желавшему, чтобы море во время осенних бурь размыло его землю. Бартнеровская стена стоит до сих пор, хотя название ее давно забыто и никому уже не ведомо, что ее построил Бартнер...

Вот там, на Бартнеровской стене, и была создана поэма «Облако в штанах». Маяковский уходил на Бартнеровскую стену каждое утро после завтрака. Там было пусто. Мы с моей сестрой Лидой, бегая на пляж и обратно, много раз видели, как он, длинноногий, шагал взад и вперед по наклонным, скользким, мокрым от брызг камням над волнами, размахивая руками и крича. Кричать он там мог во весь голос, потому что ветер и волны все заглушали.

Он приходил к нам к обеду и за обедом всякий раз читал новый только что созданный кусок поэмы. Читал он стоя. Отец мой шумно выражал свое восхищение и заставлял его читать снова и снова. Многие куски «Облака в штанах» я помню наизусть с тех пор.

За обеденным столом, кроме отца, матери и нас, детей, у Маяковского была еще одна слушательница — жившая у нас в доме моя учительница Евгения Брониславовна. Это была полька из Вильны, совсем молоденькая девушка маленького роста, востроносенькая, с тоненьким, бойким голоском. На Маяковского она смотрела во все глаза, ошеломленно, раскрыв ротик. Когда он появлялся, она сразу замолкала и не могла скрыть волнения, — во всяком случае, от меня, знавшего ее лучше, чем другие. Он не обращал на нее никакого внимания, никогда даже не смотрел в ее сторону. За столом в его присутствии она молчала, как немая.

Однако однажды она все-таки заговорила с ним. Конечно, не за столом, не в присутствии моих родителей, а в саду, недалеко от той калитки, которая вела на пляж. Возможно, она нарочно подстерегала его там, зная, что он придет к обеду с моря через эту калитку. Вертелся там и я.

День был мокрый, туманный, тяжелые капли падали с сосен. Маяковский отворил калитку, вошел в сад и крупно зашагал по тропинке, опустив голову и даже не взглянув на Евгению Брониславовну. Но она как-то бочком подкатилась к нему прямо под ноги и вдруг спросила:

— Владимир Владимирович, а что вы хотели сказать, когда написали вот то-то?

Я забыл, какое именно место «Облака в штанах» просила она его разъяснить.

Он посмотрел с высоты своего роста на ее приземистую фигурку, на задранный вверх носик.

— Эх вы, шпудька! — сказал он.

И пошел своей дорогой.

Впоследствии я много раз слышал, будто бы Маяковский был человек грубый. Это глубочайшее заблуждение. В молодости он был человек в высшей степени застенчивый, постоянно преодолевавший свою внутреннюю робость. Я, сам мучительно страдавший от застенчивости, уже тогда видел это с совершенной ясностью и ни на мгновение в этом не сомневался. Часто резкость того, что он говорил, зависела именно от этой насильственно преодоленной робости. К тому же от природы был он наделен прелестнейшим даром насмешливости и безошибочным чутьем на всякую пошлость.

Никогда не бывал он резок с теми, кто был слабее его или с теми, кто заслуживал уважения. С детьми он всегда был нежен и деликатен — я дальше расскажу о его отношении ко мне и к моей сестре. Много раз приходилось мне видеть его с Ильей Ефимовичем Репиным — и у нас в доме, и у Репиных. Их — футуриста и передвижника — в то время многие считали антагонистами, а между тем между ними были самые лучшие отношения — доверчиво-почтительные со стороны Маяковского и ласково-внимательные со стороны Репина. Репин, ненавидевший «Мир искусства» и красневший от гнева при имени Бенуа, которого называл не иначе, как Бенуашкой, к Маяковскому относился уважительно и благожелательно. Сидя у отца моего в кабинете, в большом обществе, и кого-нибудь слушая, они обычно что-нибудь рисовали — один в одном углу, другой в другом.

Впоследствии мне не раз приходилось слышать легенду, будто женщины редко влюблялись в Маяковского. Полагаю, что это совершенно неверно. Помню, в те годы в Маяковского пылко была влюблена одна куоккальская дачевладелица, некая г-жа Блинова, и об этой любви ее я слышал от взрослых немало толков <...>

В те предреволюционные годы в Куоккале среди зимогоров был и Лазарь Кармен, литератор, родом одессит, скромный и красивый человек, бедняк, отличный лыжник — отец впоследствии весьма известного советского кинооператора Романа Кармена. Этот Лазарь Кармен постоянно бывал и у нас, и у Репиных. Он был музыкален, остроумен и любил исполнять сочиненную им длинную песню на мотив «Барыни», в которой высмеивал все куоккальские сенсации. Песня эта была импровизацией, и текст ее каждый раз менялся, дополнялся. Некоторые из входивших в нее куплетов записаны у отца в Чукоккале. Я хорошо помню, как голубоглазый кудрявый Кармен, сидя на нашем диване, пел свою «Барыню» в присутствии Маяковского и Репина. Было там и несколько строк, посвященных Блиновой:

С футуристами спозналась,
В футуристку записалась,
Барыня, барыня...

<...> Дальнейшие мои встречи с Маяковским относились уже к первым годам революции. Они спутались у меня в памяти, и я не в силах определить, что было раньше, что позже. Я, например, отлично помню, как мы с отцом вошли в просторную городскую квартиру, почти без мебели, и увидели разложенные на всех полах во всех комнатах

большие листы бумаги, и Маяковского, который писал на них плакаты. Одни были уже закончены, другие только начаты, и Маяковский показывал их нам, шагая через листы длинными ногами. Там был и еще один художник, такой же долговязый, как Маяковский, — кажется Козлинский. Но было ли это в Петрограде в 1918 году, или в Москве в 1923—24, я припомнить сейчас не могу.

В годы гражданской войны Маяковский часто заезжал в Питер, но на нашу квартиру не заходил никогда. Что было тому причиной — не знаю. Мы с сестрой моей Лидой постоянно ходили на все его публичные выступления, и я много раз слышал, как он читал «Мистерию-Буфф», «150 000 000», «В сто сорок солнц закат пылал». Мы слушали, потрясенные. Кстати, нигде я не встречал до сих пор упоминания о том, что Маяковский, читая стихи, некоторые места пел. В «Мистерии-Буфф» он четыре строчки:

Хоть не чернее снегу-с,
Но, тем не менее,
Я абиссинский негус,
Мое почтенье,—

неизменно пел на мотив матчиша.

К нашему с Лидой конфузу, он всегда узнавал нас и после чтения подходил к нам и заговаривал. Говорил он о самых обыденных вещах, спрашивал о здоровье наших родителей, просил передать им привет, при этом ласково трогал нас, окруженных толпою, за плечи, и я от застенчивости впадал в состояние столбняка.

Я был мучительно застенчив в те годы, но однажды в присутствии Маяковского проявил неожиданную бойкость и отвагу. Случилось это зимой 1920—21 года, в «Доме искусств» на Мойке, 59. В один из вечеров там состоялась встреча Маяковского с кучкой петроградских поэтов. Произошла она не в зале, а в сравнительно небольшой комнате. Было всего человек двадцать, и сидели все вокруг длинного стола на тяжелых дубовых стульях с высокими резными спинками. Не было там ни Гумилева, ни, разумеется, Блока. Кто же там был? Я припоминаю с трудом и могу ошибиться, но, вероятно, там были два Жоржика — Иванов и Адамович — да Оцуп, да Вова Познер, Нельдихен, Лева Лунц, Миша Слонимский, Оленька Зив, Муся Алонкина, Елизавета Полонская, Даниил Горфинкель. Маяковский читал «150 000 000». Мне кажется, что поэма эта была и мне, и всем присутствовавшим уже известна. Читал он потрясающе. Но большинство находившихся в комнате относились к не-

му и к его стихам враждебно. Нравилась поэма только мне, Вове Познеру, Леве Лунцу, но мы были самые младшие, непочтенные и робкие среди присутствующих. Маяковский кончил в полном молчании. Помню, как он, сев за стол (читал он стоя), безуспешно пытался заставить слушателей заговорить. Никто не сказал ни слова. Тогда он предложил, чтобы и другие читали стихи. Никто не вызвался. Он ждал, переводя взгляд с одного на другого. И вдруг, неожиданно для себя самого, я решился.

Ранней осенью двадцатого года я написал поэму «Новый Евгений Онегин» — о шестнадцатилетнем школьнике и комсомольце. Она была написана онегинской строфой, и это казалось мне чудом поэтической техники. В студии «Дома искусств» я читал ее многократно, всем и каждому, — с неизменным неуспехом. У меня хватило наивности прочитать ее в присутствии Маяковского.

Я читал минут двадцать, и в течение всех этих двадцати минут он внимательно слушал, серьезно глядя мне в лицо. Он ни разу не улыбнулся, и это, вероятно, стоило ему больших усилий. Когда я кончил, он спросил, не хочет ли еще кто-нибудь почитать. Желающих не нашлось, и он больше не настаивал. Он, казалось, потерял всякий интерес к этим людям. Устало он поднялся и подошел ко мне.

— Пойдемте, — сказал он. — Я хочу показать вас Лиле.

Оказалось, что он и Лиля Брик остановились тут же, в «Доме искусств», в одной из комнат, годных для жилья. Он повел меня через весь дом по переходам и лестницам, держа руку у меня на плече. Так он ввел меня, открыв тяжелую дверь, в просторную комнату, где они жили.

В комнате было не убрано, накурено; вокруг стола, на одном конце которого громоздилась грязная посуда, сидели несколько мужчин и женщин. Они играли в «дурака». На диване спиной ко всем лежал мужчина во френче и в высоких сапогах. Когда мы вошли, небольшая полная женщина была занята тем, что, протянув руку через стол, била картами по носу оставшегося в дураках — по числу очков. Маяковский ждал, когда она кончит.

— Лиля, это Коля Чуковский, — сказал он.

Мужчина на диване повернул лицо и оказался Н. Н. Пуниным. Лиля подошла ко мне, улыбнулась, протянула руку.

— Он сейчас читал мне свою поэму, — продолжал Маяковский. — Она называется «Новый Евгений Онегин».

— И что же, лучше старого? — спросила Лиля.

Маяковский задумался.

— Нет, пожалуй, немного хуже,— сказал он, не улыбнувшись.
Я застеснялся и убежал.

В последний раз видел я Маяковского уже незадолго до его смерти,— на спектакле пьесы «Клоп» в Выборгском Доме культуры, в Ленинграде. Пошел я туда с мамой, по ее просьбе. Никто нас туда не приглашал — мама, видимо, просто купила билеты. Она надела черное шелковое платье и, кажется, волновалась. В антракте Маяковский медленно прошел к сцене через зал между стульями. Мы впервые видели его с бритой головой. Маму мою это поразило. Он вообще показался ей очень изменившимся. Она почему-то считала его несчастным.

О смерти его я слышал то же, что и другие,— слухи ходили самые разнообразные и противоречивые. Много лет спустя, в 1948 году, я проводил лето со своей семьей в деревне Вергушино, рядом с литфондовским санаторием имени Серафимовича, известным под названием Малеевки. В Малеевке в то лето отдыхала Ольга Владимировна Маяковская, которой я до той поры никогда не видел. Узнав, что я живу неподалеку, она пожелала со мной познакомиться и пришла к нам с визитом. Это была крупная женщина лет пятидесяти, очень похожая на брата не только лицом, но и манерой говорить. Уже тогда на ней заметны были следы тяжелого заболевания сердца, которое через несколько лет привело ее к смерти,— она страдала одышкой, на лице ее была отечность. И мне, и жене она была очень мила, и после первого визита, она, гуляя, стала заходить к нам каждый день.

И вдруг ее посещения прекратились.

Она не появлялась у нас больше недели. Мы с женой забеспокоились, полагая, что она заболела. Мы навели справки через знакомых отдыхающих и выяснили, что действительно она безвыходно сидит в своей комнате и не появляется даже в столовой.

Однако скоро мы узнали, что она здорова. Как передала она нам через общих знакомых, дело объяснялось тем, что в Малеевку приехал В. В. Ермилов. Не желая с ним встречаться, она десять дней не выходила из своей комнаты. Потом, не надеясь его переждать, уехала <...>

САЛОН НАППЕЛЬБАУМОВ

Мы уехали в Псковскую губернию весной 1921 года из Петрограда военного коммунизма, а осенью вернулись в Петроград нэповский.

За эти несколько месяцев жизнь в городе круто изменилась. На всех углах открылись частные лавочки, закрытые с восемнадцатого го-

да. Рынки и барахолки кишели толпой. Разного рода спекулянты и мешочники, еще недавно орудовавшие втайне, теперь действовали открыто, выставляя напоказ свои синие шевиотовые пиджаки, резко выделявшиеся среди миллионов толстовок и заношенных гимнастеров. Валютчики на Невском приставали к прохожим и предлагали доллары, марки, франки. Появились кафе, в которых впервые за четыре года продавались пирожные. Особенно много возникло комиссионных магазинов — по перепродаже мебели, фарфора, хрусталя, картин. Все это стоило копейки, но почти не раскупалось, потому что копеек ни у кого не было. Сейчас трудно себе даже представить, до чего убогой была непывская роскошь. Человек, носивший пиджак и галстук, считался неслыханным франтом, изысканным дэнди. Человек, покупающий пирожное, считался кутилой, прожигателем жизни.

Однажды таким прожигателем жизни оказался и я. Была у меня приятельница, девочка лет семнадцати, которую звали Таня Ларина. В отличие от пушкинской Тани была она не Дмитриевна, а Константиновна. Я проводил с ней много времени и, между прочим, свел как-то в Дом Искусств. Она понравилась Мише Зощенко, он запомнил ее и потом, встречаясь со мной, всякий раз спрашивал меня о Тане Лариной.

Однажды, поздней осенью 1921 года, пошел я с Таней в театр, находившийся в Пассаже и называвшийся петроградцами по старой памяти театром Сабурова. В фойе театра — неслыханная новость! — был буфет. В антракте мы с Таней, как заколдованные, ходили мимо стойки, где стояла большая ваза с пирожными. Конечно, я понимал, что настоящий кавалер должен был бы угостить свою даму, но колебался. Тут же, в фойе, обнаружился поэт Николай Оцуп с женой Полиной, красивой женщиной, казавшейся нам очень шикарной, потому что она как-то по-особенному косила глаза. Оцуп небрежно мне кивнул, подвел жену к стойке, и они съели по пирожному. При виде жующего Оцуа мои колебания кончились. Когда Оцуп расплатился и отошел, я подвел к стойке Таню и предложил съесть по пирожному.

Таня взяла пирожное, взял и я. Таня съела пирожное с величайшим наслаждением. Облизала пальцы и сейчас же — цоп — взяла из вазы еще одно.

Я, конечно, не говорил ей: «Ложись взад». Но я пережил несколько страшных минут. Я не знал в точности, сколько у меня денег в кармане, но по предварительным моим расчетам выходило, что за два пирожных я заплачу могу, а за три — никак. Я ждал скандала, ждал, что меня выведут из театра. Все обошлось, потому что я отыскал где-то в заднем

кармане полученную в трамвае сдачу, о которой я забыл. Но память об испуге, который я испытал в течение нескольких минут, пока Таня ела пирожное, осталась во мне надолго.

На следующий день был я в Доме Искусств и зашел к Зощенко, который жил теперь рядом со Слонимским. Зощенко сразу же стал расспрашивать меня о Тане Лариной, и я рассказал ему о своем вчерашнем переживании в театре.

На ближайшем серапионовском сборище он прочитал свой новый рассказ — «Аристократка». Как всегда, читал он серьезно, с неподвижным лицом, но после каждой фразы слушатели хохотали так, что тряслись стены. Мы севой Лунцем плакали от смеха. Зощенко очень точно использовал мой рассказ, взял даже слово «цоп», а ведь я, рассказывая ему, не видел в этом неприятном происшествии с пирожными ничего смешного. От этого все, что он читал, казалось мне еще уморительнее. И, несмотря на то, что он изобразил меня в виде какого-то малопривлекательного водопроводчика, я был рад, что хоть так попал в литературу.

Переломный двадцать первый год был переломным и для петроградской литературной жизни. В этом году основались Серапионовы братья, умерли Блок и Гумилев, уехал Горький, появились новые люди — Николай Тихонов, Сергей Колбасев, Всеволод Иванов, значительную роль в петроградской литературной жизни стали играть Ходасевич и Манделштам. И возник новый литературный центр — салон Наппельбаумов.

Моисей Соломонович Наппельбаум был по профессии фотограф-художник. Так он сам себя называл. Родился он в Минске и там начал заниматься фотографией. В поисках лучшей жизни он, оставив в Минске семью, уехал в Америку и прожил там несколько лет. Но Америка ему не понравилась, и перед самой войной он вернулся в Минск. Летом 1917 года, когда отменили черту оседлости, он с семьей переехал в Петроград.

Это был крупный, красивый мужчина с волнистыми кудрями и большой черной бородой. Всем своим обликом старался он показать, что он — художник. Он носил просторные бархатные куртки, какие-то пелерины, похожие на старинные плащи, галстуки, завязывавшиеся пышным бантом, береты. Свои фото он ретушировал так, что в них появлялось что-то рембрандтовское. Он действительно был замечательным мастером портрета. Его фотография Ленина, снятая в начале 1918 года, — одна из лучших ленинских фотографий. Очень хороши сделанные им портреты Блока. Это был добрый, благожелательный человек,

очень трудолюбивый, любящий свое дело, свою семью, искусство и деятелей искусства.

Эта любовь к людям искусства и литературы была в нем удивительной чертой, потому что, в сущности, был он человек совсем малограмотный, книг почти не читавший и не только ничего не понимавший в произведениях тех, кого так любил, но и не пытавшийся понять. Свое бескорыстное благоговение перед «художественным» он передал по наследству всем своим детям. Они не мыслили себе никакой другой карьеры, кроме карьеры поэта, писателя, художника.

Детей у него было пятеро — Ида, Фредерика, Лев, Ольга и Рахиль. Две старшие дочери, Ида и Фредерика, помогали отцу проявлять фотографии и, кроме того, писали стихи. С осени 1919 года они занимались в литературной студии Дома Искусств, в семинаре у Гумилева.

Весной 1921 года Гумилев, великий организатор, создал при Цехе поэтов нечто вроде молодежной организации — «Звучащую раковину», членами которой стали участники его семинара. После смерти Гумилева члены «Звучащей раковины» начали собираться на квартире у Наппельбаумов — каждый понедельник. На эти собрания неизменно приходили все члены Цеха поэтов. А так как после смерти Гумилева обе эти организации перестали быть, в сущности, организациями, потеряли свои границы и очертания, то на понедельники к Наппельбаумам стали приходиться и те литераторы, которые не имели никакого отношения ни к Раковине, ни к Цеху.

В первые годы нэпа, если отбросить спекулянтов и лавочников, стоявших как бы вне советского общества, самым зажиточным слоем городского населения России были ремесленники-кустари — портные, шапочники, сапожники, зубные техники, фотографы. Это длилось примерно до 1926 года, когда их начали по-настоящему прижимать фининспекторы. Тогда зажиточнее всех стали инженеры. А в первую половину двадцатых годов у нас в Петрограде главным покровителем живописцев был друг художника Исаака Бродского портной Иосиф Наумович Слонимский, занимавший на Сергиевской улице целый особняк, а главным покровителем поэтов — фотограф Моисей Соломонович Наппельбаум.

Наппельбаумы жили на Невском, недалеко от угла Литейного, в квартире на шестом этаже. Половину квартиры занимало огромное фотоателье со стеклянной крышей. Но собрания проходили не здесь, а в большой комнате, выходящей окнами на Невский, — из ее окна видна была вся Троицкая улица из конца в конец. В комнате лежал ковер, стояли рояль и большой низкий диван. Еще один ковер, китайский, с изображением большого дракона, висел на стене. Этому ковру прида-

валось особое значение, так как дракон был символом Цеха поэтов. Один из сборников, изданных в 1921 году Цехом, так и назывался — «Дракон», Ни стола, ни стульев не было. На диване собравшиеся, разумеется, не помещались и рассаживались на многочисленных подушках вдоль стен, или на полу, на ковре. Свои стихи каждый понедельник читали все присутствующие — по кругу, начиная от двери. Этот обычай оставался неизменен в течение всего времени, пока существовал наппельбаумовский салон — с 1921 по 1925 год. Расцвет салона был в начале его существования — зимой 1921—1922 годов. Потом начался долгий, затянувшийся на три года упадок.

Серапионы-прозаики относились к наппельбаумовским сборищам презрительно и не посещали их. Но серапионы-поэты, Полонская и Тихонов, приходили каждый понедельник. Тихонов всегда приводил с собой Сергея Колбасьева, который после смерти Гумилева стал преданнейшим тихоновским оруженосцем. Приходил и Всеволод Рождественский, исключенный из Цеха, но встречавшийся со своими прежними товарищами здесь, на нейтральной почве. Приходил Михаил Кузмин и приводил свою постоянную свиту — Анну Радлову, Юркуна, художницу Арбенину, пианиста Ореста Тизенгаузена. Приходил Ходасевич, презиравший, конечно, Наппельбаумов и их салон, но не больше, чем все остальное на свете.

Первое время дух Гумилева как бы витал над салоном, о нем поминали постоянно. Большим успехом пользовалось стихотворение Иды Наппельбаум, посвященное Гумилеву:

Ты правил сурово, надменно и прямо,
Твой вздох — это буря, твой голос — гроза.
Пусть запахом меда пропахнет та яма,
В которой зарыты косые глаза.

Но, разумеется, столько молодых, деятельных, честолюбивых людей не могли долго жить оплакиванием. Вскоре, наравне с поклонением прежнему богу началось поклонение и новым божкам.

Каждый понедельник у Наппельбаумов стихи читали человек тридцать. Но по-настоящему волновали слушателей только пятеро — Тихонов, Вагинов, Рождественский, Кузмин и Ходасевич. А увлекали сердца только двое.

Константин Константинович Вагинов был, бесспорно, лучшим поэтом «Звучащей раковины», и это признавали все. Он был уже членом Цеха и печатался в цеховских сборниках. Слушали его внимательно

и серьезно, многие стихи его знали наизусть. Он был своеобразен — быть может, своеобразнее всех прочих посетителей салона. Но именно это своеобразие и отгораживало его от остальных. Да и помимо этого, он был слишком деликатным, скромным, мягким и застенчивым человеком для того, чтобы стать вождем и увлекать сердца. У Всеволода Рождественского были пламенные поклонницы, и вообще стихи его нравились дамам и девам — впрочем, далеко не всем. Люди посерьезнее считали его творчество дешевой. Никаким вождем он не мог стать уж хотя бы оттого, что рассорился с Цехом; с Тихоновым, после первоначальной пламенной дружбы, он тоже разошелся. К Кузмину относились с глубоким почтением, как к старому заслуженному метру, но по-настоящему его стихи волновали только его собственный крошечный кружок.

Подлинными властителями дум и сердец в этом ограниченном замкнутом слое интеллигенции стали Тихонов и Ходасевич. Они исключали друг друга — все, кто любил Тихонова, не признавал Ходасевича, и наоборот. За Тихоновым пошли все поклонники Гумилева, к Ходасевичу примкнули многие из любивших Блока. Так как в этом кругу поклонников Гумилева было несравненно больше, чем поклонников Блока, то и успех Тихонова был несравненно шумнее успеха Ходасевича.

Георгий Иванов, хотя и несколько сквозь зубы, во всеуслышание признал, что Тихонов «большой, но необработанный поэт». С ним сейчас же согласились Адамович, Одоевцева и Оцуп — они теперь во всем соглашались с Георгием Ивановым, потому что после смерти Гумилева он стал признанным идейным главой Цеха. С Цехом, конечно, согласилась и «Звучащая раковина» — и уж вовсе не сквозь зубы. Самый пламенный из гумилевцев, Сережа Колбасьев, привезенный Гумилевым из Севостополя, теперь стал таким же пламенным тихоновцем.

Сережа Колбасьев, имевший склонность к издательской деятельности, был первым издателем Тихонова и, таким образом, положил начало его широкой известности. Колбасьев организовал издательство под названием «Островитяне», которое просуществовало один год — 1922-й — и успело выпустить три книжки стихов: «Орду» Тихонова, «Открытое море» Колбасьева и сборник «Островитяне», в который вошли стихи Тихонова, Колбасьева и Вагинова. «Орда» сразу имела большой и довольно широкий успех.

Издать книжку тогда было несложно: Колбасьев шел в любую государственную типографию, сговаривался с рабочими, и они в кредит давали ему бумагу (ужасную), в кредит набирали и печатали. Потом Колбасьев распродал тираж и расплачивался с рабочими. В 1922 году

я и сам таким способом издал две книжки: сборник стихов моих приятелей и приятельниц под названием «Ушкуйники» и старую статью моего отца «Оскар Уайльд». Так же поступал в своей издательской деятельности и Моисей Соломонович Наппельбаум.

За год-полтора выпустил он четыре книги: сборник стихов «Звучащая раковина», книжку стихов дочери Иды, книжку стихов дочери Фредерики и первый номер толстого журнала «Город». Сборник «Звучащая раковина» — толстый, большого формата, отпечатанный на отличной бумаге, был украшен пышной обложкой с безукуснейшей виньеткой. Никакого успеха и значения он не имел. Когда сейчас просматриваешь его, он поражает своей бледностью, бесталанностью, убогой подражательностью, хотя все помещенные в нем стихи написаны в полном соответствии с гумилевскими таблицами. Исключение составляют только стихи Вагинова, сквозь смутную ткань которых проглядывает дарование и скрытая трагическая сила.

По идее журнал «Город» должен был быть периодическим органом наппельбаумовского салона. Вышел только один номер — большой и толстый, вроде нынешнего журнала «Новый мир». Этот номер «Города» интереснее сборника «Звучащая раковина» — в нем напечатаны романтическая трагедия в стихах Льва Лунца «Бертран де Борн», стихи Тихонова, Вагинова. Все эти издания тех лет давным-давно стали библиографической редкостью и почти недоступны, а между тем они необходимы для изучения русского общества первых лет нашей революции.

Ко всем этим затеям Моисей Соломонович имел отношение только, так сказать, финансовое. Все составлялось и редактировалось его старшими дочерьми. Принимали гостей и руководили чтением стихов тоже только дочери. Моисей Соломонович даже и присутствовал при чтении далеко не всегда. Он только появлялся иногда в дверях — с роскошной бородой, в роскошной бархатной куртке, — стоял и слушал, пока читал какой-нибудь поэт постарше возрастом, например, Кузмин или Ходасевич. Потом опять исчезал в глубине квартиры. Гости угощала Фредерика. Тоненькая, стройная, с негромким мелодичным голосом, с прелестными руками и ногами, она появлялась в комнате, где происходило чтение, неся тарелку, в которой лежали бутерброды с прозрачными ломтиками сыра. Она подходила по кругу к каждому и предлагала взять бутерброд. В этом и состояло все угощение, которое Наппельбаумы предлагали большинству своих гостей. По тем временам это было немало, если принять во внимание, что гостей собиралось человек тридцать — сорок. Позже, после одиннадцати, наиболее почетные или близкие к семье гости тихонько переходили в столовую и там, за общим

семейным столом, пили чай. Только там, у себя в столовой, в узком кругу папа Наппельбаум иногда отваживался высказать и свое мнение о прочитанных стихах. Едва он открывал рот, как у дочерей его становились напряженные лица: они смертельно боялись, как бы он чего не сморозил и не осрамил их перед лицом знатоков. Обычно они перебивали его раньше, чем он успевал закончить первую фразу. И он, благоговевший перед своими дочками, послушно замолкал.

Салон Наппельбаумов начал вырождаться и хиреть уже со второго сезона. В течение 1922 года Георгий Иванов, Одоевцева, Адамович, Оцуп убежали за границу. Поздней осенью за ними последовал и Ходасевич, удиравший со своей новой женой от старой. Колбасьев нарисовал и всем показывал карикатуру, на которой «Звучащая раковина» была изображена в виде унитаза; это оскорбило хозяев, и они перестали принимать его. Тогда и Тихонов, друг Колбасьева, стал приходиться далеко не каждый понедельник. Сборы все более принимали домашний обывательский характер, стали напоминать деревенские посиделки. Девицы и молодые люди были сплошь влюблены друг в друга, но все как-то невпопад: «а» любила «в», «в» любил «с», «с» любила «д», «д» любил «а», и взаимности не получалось. Все это со всеми оттенками и многозначительными намеками изливалось в стихах к ближайшему понедельнику, в понедельник читалось по кругу, и заинтересованные лица с пламенным интересом следили за дальнейшим развитием этих любовных несоответствий.

Мало-помалу в салоне стали появляться и новые люди. Стал приходиться здоровенный детина, писавший стихи под псевдонимом Андрей Скорбный. Возникли два брата, два студента университета Анатолий и Николай Брауны. Николай Браун читал свои стихи с шумным успехом. Частыми посетителями Наппельбаумов стали и поэты-пролеткультовцы — Илья Садофьев, Алексей Крайский, Евгений Панфилов. Принимали их так же приветливо и благодушно, как и всех прочих. Помню, Садофьева впервые привел к Наппельбаумам Кузмин, громко восхищавшийся его стихами. Садофьев читал стоя, а маленький Кузмин, с волосенками, расположившимися вокруг лысины, как лавровый венок, все хвалил и все просил: еще, еще. Рассказываясь, делая по ковру то шаг вперед, то шаг назад, Садофьев медленно произносил:

Что такое стало с маткой?
Матку взяла мертвой хваткой...

На сборищах у Наппельбаумов бывали не только поэты, но иногда и музыканты. Приходил композитор Артур Лурье, пианист Александр Каменский — красивый, рослый малый в такой же бархатной куртке, как у хозяина дома. Садись за рояль, давали концерты. Порою за рояль садился поэт Михаил Кузмин и играл свои музыкальные сочинения, подпевая себе слабеньким голосочком:

Нам философии не надо
И глупых ссор,
Пусть будет жизнь — одна отрада
И милый вздор.

Георгий Иванов в своих воспоминаниях, которые он выпустил в 1929 году в Париже, цитирует эту песенку Кузмина, усматривая в ней какой-то протест против Советской власти. А между тем ровно никакого протеста в этой песенке не было.

Михаил Алексеевич Кузмин был самый чистопородный, без всяких примесей, эстет в русской литературе, небогатой чистыми эстетам. Решительно все явления бытия он рассматривал только с одной точки зрения: вкусно или безвкусно. Всякая государственность, безразлично какая, была для него только безвкусицей. Всякую философию, все то, что люди называют мировоззрением, он считал безвкусицей. Тот гумилевский формализм, который исповедовал Георгий Иванов, тоже, безусловно, казался Кузмину безвкусицей. При этом к безвкусице Кузмин вовсе не относился непримиримо. Как эстет изысканный, он от души радовался всякий раз, когда безвкусица принимала неожиданные, причудливые, нелепые формы. Помню, как он восхищался пошлейшими немецкими фильмами, — именно оттого, что они были так причудливо пошлы и нелепы. Он даже писал стихи на темы, взятые из этих фильмов. Стихи Ильи Ивановича Садофьева доставляли ему такое удовольствие, разумеется, только тем, что в них, помимо воли автора, на каждом шагу сталкивались, создавая удивительные комбинации, безвкусицы, принадлежавшие к самым различным родам <...>

С начала революции из 1922 года путешествие из Петрограда в Москву и обратно было делом трудным, требующим больших хлопот, как и всякое железнодорожное путешествие в то время. И литературная жизнь в обоих городах в течение пяти лет развивалась обособленно, почти не сообщаясь. Ходасевич, в 1920 году переехавший из Москвы в Петроград, был чуть ли не единственный литератор, совершивший в это время подобное переселение. Но с 1922 года все изменилось. Железная

дорога наладилась, и Москва оказалась близко, рядом. До нас все громче доносился шум московской литературной жизни. «Голой год» Пильняка, стихи Есенина, Леф, имажинисты, «Стоило Пегаса», какие-то ничевоки — все это налетело на нас вихрем брошюрок и стихов. Изредка москвичей стало заносить и к нам, в Петроград.

Помню, как у Наппельбаумов появилась целая толпа ничевоков. Мы робко на них взирали. Все они были молоды, странно разодеты, не обращали на хозяев никакого внимания, держали себя с наглостью и развязностью предельной и похожи были на пьяных солдат. Стихов я их не припоминаю, не уверен даже, читали ли они нам свои стихи. Предводительствовал ими некий Рюрик Рокк — хорошенький нахальный мальчик с ямочками на щеках, в какой-то пестрой шапочке с кисточкой. В качестве оруженосца и телохранителя за ним всюду следовал черкес — с кинжалом, с газырями. Впрочем, по фамилии этот черкес был Рабинович.

В конце 1923 года у Наппельбаумов читал свои стихи Борис Пастернак. Я впервые видел и слышал Пастернака, стихов его я до тех пор совсем не знал. Он стоял рядом с роялем — в коричневой тройке, с коричневым галстуком, с очень белым воротничком, прекрасноголзый, и читал стремительно, увлеченно, много — все то, что вошло в его книгу «Сестра моя жизнь». Он поразил и пленил меня — быстротой своих ритмов, яркой и легкой изобразительностью, новизной своего языка, полного таких неожиданных просторечий. Даже его манера читать была совсем новой для нас, петроградцев, привыкших к торжественному акмеистическому вытыю. Конечно, все подлинное значение этого поэта я понял гораздо позже, но полюбил его уже с того вечера.

Надо сказать, что на общество, собравшееся у Наппельбаумов, Пастернак большого впечатления не произвел. Потряс он только меня да Тихонова, который на целое десятилетие заразился пастернаковскими ритмами.

С 1923 года наппельбаумовские сборища стали посещать два поэта, только что переехавшие в Петроград из Ташкента, — Павел Лукницкий и Михаил Фроман. Лукницкий сидел у Наппельбаумов на ковре в халате и тюбетейке, скрестив перед собой ноги, и пел узбекские песни. Он даже выдавал себя за узбека, что ему совсем не удавалось, так как был он светлорус, голубоглаз и курнос. В квартиру Наппельбаумов привела его пламенная любовь к Гумилеву, которого он никогда не видел. А Фромана привела сюда не менее пламенная любовь к Ходасевичу. И оба они опоздали. Гумилева не было в живых, а Ходасевич находился в Германии.

Любовь Лукницкого к Гумилеву была деятельной любовью. Не став Гумилева в живых, он стал расспрашивать о нем тех, кто встречался с ним, и заносил все, что они ему рассказывали, на карточки. Карточек набралось несколько тысяч. Эта драгоценная биобиблиографическая картотека хранится у Лукницкого до сих пор. Любовь Фромана к Ходасевичу была не столь энергична, но зато, попав в дом Наппельбаумов, он вспылал иною, более жаркой любовью и примерно через год женился на Иде Моисеевне Наппельбаум.

Своей женитьбой Михаил Александрович Фроман как бы разрубил всю цепь неудачных любовей, и все стало на место — все перестали любить кого не нужно и полюбили кого нужно. Начались браки. Фредерика Моисеевна тоже вышла замуж. Вышла замуж и Ольга Моисеевна. Костя Вагинов женился на Але Федоровой — тоже участнице гумилевского семинара.

На этих браках, собственно, существование салона Наппельбаумов и прекратилось. Произошло это, конечно, не сразу, не в один день.

Последнее собрание у Наппельбаумов, которое я запомнил, — юбилей Кузмина в 1925 году. Он праздновал двадцатилетие своей литературной деятельности. Под торжество Наппельбаумы предоставили всю свою квартиру. Пиршественные столы стояли в ателье. Приглашенных было человек шестьдесят, вина очень много. Но юбилея этого я почти не запомнил, потому что по молодости своей и неопытности сразу напился и очень захмелел. Потом мне рассказывали, что я колотил по клавишам наппельбаумовского рояля табуреткой и нанес ему серьезные повреждения. И Наппельбаумы мне это простили, еще раз доказав свое великодушие и свою удивительную доброту.

КОКТЕБЕЛЬ

Однажды, в годы перед первой мировой войной, осматривая декорации Александра Бенуа за кулисами Мариинского театра, Гумилев и Волошин, оба сотрудиники «Аполлона», поссорились и оскорбили друг друга. При оскорблении присутствовали посторонние, в том числе и Бенуа, и потому решено было драться на дуэли. Местом дуэли выбрана была, конечно, Черная речка, потому что там дрался Пушкин с Дантесом. Гумилев прибыл к Черной речке с секундантами и врачом в точно назначенное время, прямой и торжественный, как всегда. Но ждать ему пришлось долго. С Максом Волошиным случилась беда — оставив своего

извозчика в Новой Деревне и пробираясь к Черной речке пешком, он потерял в глубоком снегу калошу. Без калоши он ни за что не соглашался двигаться дальше и упорно, но безуспешно искал ее вместе со своими секундантами. Гумилев, озябший, уставший ждать, пошел ему навстречу и тоже принял участие в поисках калоши. Калошу не нашли, но совместные поиски сделали дуэль психологически невозможной, и противники помирились.

После этого происшествия Саша Черный в одном из своих стихотворений назвал Макса Волошина Ваксом Калошиным.

Вот и все, что сохранилось у меня в памяти из этого рассказа, хотя я слышал его с множеством подробностей от обоих участников. Гумилев рассказывал о дуэли насмешливо, снисходительно, с сознанием своего превосходства. Макс — добродушнейше смеялся над собой.

Вообще доброта, добродушие было самой заметной чертой этого коренастого толстяка, широколицего бородача с маленькими голубыми крестьянскими глазами. Трудно было себе представить, что до первой мировой войны он жил в Париже больше, чем в России, носил цилиндр, монокль. Борода у него тоже была мужицкая, рыжевато-каштановая, с проседью, и он постоянно ухмылялся в нее большим добрым ртом. Годы гражданской войны провел он безвыездно в Крыму, у себя в Коктебеле, жил и под белыми, и под красными. Он с гордостью рассказывал, как при белых он хлопотал за арестованных красных, а при красных — за арестованных белых. Прислушиваясь к его рассказам, а он был говорлив, — легко можно было заметить, что красные ему все-таки куда милее белых. Он с негодованием рассказывал о зверствах белогвардейского офицерства, об его тупости. Осенью двадцатого года, после Перекопа, он не убежал с белыми в Константинополь, хотя имел к тому полную возможность; белые пугали его, что красными он будет расстрелян, сами угрожали ему расстрелом, но он спрятался и остался. О писателях-эмигрантах говорил он с открытой враждебностью. Проездом в Петроград он остановился в Москве и не без гордости рассказывал, как хорошо был встречен Брюсовым, который был в то время коммунистом и, в сущности, руководителем всей московской литературной жизни.

В двадцать четвертом году приехал он в Петроград с женой Марьей Степановной, трогательно ему преданной. «Когда я была девушка, — рассказывала она, — все мои подруги мечтали выйти замуж за красавцев, или генералов, или богачей. А я говорила: не нужно мне ни красавца, ни генерала, ни богача, был бы мой милый умен. Так и получилось». Говорилось это с наивным простодушием, чуть-чуть наигранным. Марья Степановна была по образованию фельдшерница и именно как фельдше-

рица попала в коктебельский дом Волошина — ухаживала за матерью Макса во время ее предсмертной болезни и осталась в доме хозяйкой.

В тот их приезд в Петроград я встретился с Волошиным дважды — у Марии Михайловны Шкапской и дома у моих родителей.

Мария Михайловна была очень милая женщина средних лет, писавшая стихи, жена инженера, мать двух прелестных мальчиков. Жила она на Петроградской стороне, и у нее тоже был литературный салон вроде наппельбаумовского, но поменьше, и посещали ее преимущественно литераторы, обитавшие на Петроградской стороне. Среди частых ее посетителей был Н. С. Тихонов, живший на Зверинской, и Ю. Н. Тынянов, живший на углу Большого и Введенской. Бывал у нее и В. А. Каверин, живший там же. Я захаживал к ней редко, потому что жил от Петроградской стороны далеко. По-видимому, я в тот раз пошел к ней только для того, чтобы послушать Волошина.

Стихи Волошина произвели на меня большое впечатление. Это было совсем не то, что я ожидал. Ни брюсовщины, ни гумилевщины не оказалось в них ни капли — никакого «Аполлона». Это были серьезные живые раздумья о России, о революции, об истории, о только что утихнувшей гражданской войне, выраженные в несколько тяжеловатых, длинноватых, но страстных и искренних стихах. Особенно запомнилось мне «Видение Иезекииля» — лучшее, по-моему, из всего, что написал Волошин. Много в его раздумьях было наивного: он представлял себе революцию стихийным бунтом, чем-то вроде пугачевщины, он писал об истории как о чем-то извечно повторяющемся и потому безысходном, он, подобно многим интеллигентам того времени, считал самого себя стоящим над схваткой, тогда как в действительности он стоял под схваткой, — и при всем том стихи эти были значительны, необычны, полны любви к родной земле, к людям, пронизаны тревогой и добротой, озарены солнцем южной России и овеваны сухим ветром степей.

Читал он долго, а когда кончил, Марья Степановна стала петь. Песни у нее были самодельные — она брала стихотворения Сологуба или Блока, подбирала к ним мотив и пела тоненьким-тоненьким, слабеньким голоском. Особенно удавалась ей «Заря-заряница» Сологуба:

Заря-заряница,
Красная девица,
Мать пресвятая богородица.

По всей земле ходила,
Все страны посещала,
В одно село пришла.

Все рученьки оббила,
Стучать не достучала,
Приюта не нашла.

Заря-заряница,
Красная девица,
Мать пресвятая богородица.

Ее от окон гнали,
Толкали и корили,
Бранили и кляли,

И бабы ей кричали:
Когда б мы всех кормили,
То что б мы сберегли.

Пока она пела, Макс с любовью, затаенным восхищением, с гордостью искоса поглядывал на нее маленькими, лукаво-добродушными глазами.

Через несколько дней Волошины обедали у нас на Кирочной. Отец мой встретил Макса приветливо, как старого знакомого. Макс вначале держался слегка застенчиво — чувствовалось, что за несколько лет, проведенных вдали от больших городов, у него появилась робость провинциала. Но уже за супом он разговорился и не без удовольствия стал рассказывать, как уважительно приняли его в Москве. Во время этого рассказа Марья Степановна, заботясь о том, чтобы он не уронил своего достоинства, громким звонким голосом вставляла свои пояснения и дополнения, имевшие своей целью доказать, что любые почести, оказываемые Максимилиану Александровичу, не могут поколебать независимости его взглядов.

После обеда Макс читал свои стихи — те же самые, которые я слышал у Шкапской. Отец мой вежливо хвалил их, восхищался отдельными удачными выражениями, но по тону его я понял, что стихи понравились ему не очень и что он, как и раньше, считает Макса поэтом второ-степенным. Показалось мне, что понял это и сам Макс. В его ответах на вопросы отца появился холодок. Однако отношения скоро опять утеплились — после обеда все мы собрались в кабинете, Марья Степановна запела, и пение ее привело отца в восторг. Он растрогался, на глазах у него заблестели слезы. «Зарю-заряницу» он издавна любил и все заставлял Марью Степановну петь снова и снова <... >

Конечно, восхищение отца пением Марьи Степановны не могло возместить его холодности к стихам Макса. Макс принадлежал к числу тех литераторов, которые не сомневаются в величии всего, что они пишут, и позволяют слушателям только восхищаться. Марья Степановна постоянно говорила о нем в его присутствии как о гениальном человеке, и он выслушивал ее восхваления с довольной, ласковой и снисходительной улыбкой. И мой отец, несмотря на искреннюю свою симпатию к Максy, навсегда остался с Волошиным в далековатых и прохладных отношениях.

Однако он получил приглашение пожить у них на даче в Коктебеле на берегу моря, и летом 1923 года воспользовался им. У Волошиных прожил он месяц и вернулся из Крыма довольный, помолодевший, с лувковыми глазами.

Весной 1924 года я женился. Нам с женой хотелось уехать куда-нибудь на юг, но денег у нас почти не было. И отец сказал мне:

— Давай, я напишу Волошиным. Не сомневаюсь, они пригласят вас.

В ответ на папину открытку пришло любезное письмо, и в июне мы с женой поехали. В то время поезд из Ленинграда в Феодосию шел четверо суток. И я и жена, мы до тех пор редко покидали родной город, и потому путешествие это запомнилось мне на всю жизнь. Ехали мы в жестком бесплაცкартном вагоне, и спал я на багажной полке. Погода стояла прекрасная, поезд шел на юг, в лето, подолгу стоял на маленьких станциях, я бегал за кипятком по пригретым доскам платформ, покупал яйца, калачи, пряники, жадно вдыхая запахи паровозной гари, земли, травы, листья. Большинство наших спутников менялось чуть ли не на каждой станции. На Украине все разговоры полны были еще воспоминаниями о гражданской войне. В вагон заходили «бешеные» деревенские коммунисты, едущие в город на съезд — в рубашках, в высоких сапогах, с папками в руках, — и вдруг узнавали какого-нибудь притихшего бородача, сидящего в проходе на туго набитом мешке:

— Мы тебя, куркуль, знаем, ты махновцев прятал!..

А за окном медленно темнело, пахло горячей степной сушью; птицы прыгали в пыльных посадках, и небо казалось все огромней.

В Феодосию поезд пришел во вторую половину дня, у вокзала мы наняли линейку, и тот путь до Коктебеля, который теперь на машине преодолеваешь за полчаса, занял у нас часа два с половиной. С удивлением глядел я на залитые вечерним солнцем бурые и рыжие феодосийские бугры. С одного из бугров уже в сумерках увидел я впервые очертания трех знаменитых коктебельских гор — Карадага, Святой и Су-

урюк-Айя, — очертания, которые впоследствии стали для меня такими родными и от которых всю жизнь у меня замирало сердце, сколько бы я раз на них ни глядел. К волошинскому дому мы подъехали уже в темноте. Смутные облики неведомых мне деревьев теснились вокруг. На перилах открытой терраски сидело семь женских фигур — все в белом. Когда мы с женой слезли с линейки, они воскликнули в один голос:

— И этот женат!

Волошины приняли нас ласково, дали нам комнату. В этом вовсе не было проявления особого к нам внимания. В их странном доме всех принимали так, даже совсем незнакомых. Московский студент-первокурсник Кот Поливанов, пробираясь летней ночью 1924 года на Карадагскую зоологическую станцию, где он собирался поработать, заблудился, вышел к волошинскому дому и попросился переночевать; и не только застрял там на все лето, но потом в течение четырех десятилетий приезжал туда ежегодно проводить свой отпуск. Без всяких просьб и оснований во множестве жили у Волошиных самые разные литераторы, окололитературные люди и многочисленные дамы и девицы. Кормились все за свой счет и кто как умел. Мы с женой вступили в «коммуну», которую организовали человек пятнадцать, кормившихся вскладчину. Готовила нам специально приглашенная феодосийская дама Олимпиада Никитишна, которая потом много лет работала сестрой-хозяйкой в коктейльском «Доме творчества» Литфонда. Брала она гроши, но у Макса и Марьи Степановны не было и этих грошей, и они всегда охотно соглашались поесть нашего супа и нашей рыбы.

Жили Волошины крайне бедно, на наш нынешний взгляд, даже нище. Макс не зарабатывал ничего, а Марья Степановна, лечившая больных в деревне, получала за свои труды копейки. В их распоряжении было два больших дома — свой и стоящий позади «юнговский», принадлежавший детям известного окулиста и путешественника Юнга, который когда-то владел всей коктейльской долиной; эти Юнги жили в одной из комнат своего дома еще и при нас, но я их помню совсем смутно. Бедностью своей Макс не тяготился нисколько и, казалось, не замечал ее. От своих гостей он хотел лишь одного, — чтобы они восхищались его стихами и мудростью.

И гости охотно и щедро платили ему восхищением. Одни потому, что это им ничего не стоило, другие — большинство — совершенно искренне.

Стихи читались по вечерам, каждый вечер, а в течение дня все было свободно. Свобода, постоянное чувство свободы — в этом была глав-

ная прелесть коктейбельского житья. Прямо перед волошинским домом находились два пляжа, мужской и женский. Женский пляж назывался «геникей», а мужской соответственно «мужикей». В то лето на мужском пляже царили Саша Габричевский и Антон Шварц. Оба они были рослые, красивые, тридцатилетние и казались мне тогда образцом зрелой мужественности. Александр Георгиевич Габричевский был знатоком Гете, много говорил о немецкой литературе, презрительно отзывался о Шиллере. «Гете это подлинный человек, т. е. в нем женское и мужское начало слиты воедино», — рассуждал он, «а Шиллер — это мужчина с жидкими ляжками». Он прелестно грассировал, был очень начитанный человек, глубоко порядочный и с неизменным чувством собственного достоинства, говорун, остряк, женолюб, умница. Наши жены оказались родственницами, и мы хорошо сошлись на всю жизнь. Габричевский был создан для Коктебеля: солнце, море, горы, вино, стихи, разговоры, книги — лучшего в жизни он не искал. И он застрял в Коктебеле навсегда. Зимы проводил в Москве, а ранней весной отправлялся в Коктебель и оставался там до поздней осени. Там, в собственном уже домике, живет он и сейчас, когда пишу эти воспоминания, в 1959 году, — крупный одноглазый старик, почти глухой, но с отличной осанкой, грассирующий, добрый и благородный, по-прежнему чтущий Ницше и прибавивший к своим прежним увлечениям увлечение Кафкой и абстракционистами.

Сидеть на пляже в трусах или в купальниках считалось в те времена в Коктебеле дурным мещанским тоном. Валялись на пляже и купались нагишом. В геникее было куда болеелюдно, чем в мужикее, и женщины непрерывно перекликались с мужчинами. Каждый день с женского пляжа к мужскому приплывала Леля Кашина — красивейшая женщина того далекого коктейбельского лета, двадцатитрехлетнее белокурое чудо из прежде богатой купеческой семьи. Незадолго перед тем она вышла замуж за Николая Николаевича Евреинова, но мужа в Коктебель не привезла. Она подплывала к мужикее и, лежа на животе у берега в мелкой воде, затевала глубокомысленные разговоры с Антоном Шварцем, который очень ей нравился, а мы тем временем любовались ее крупным, розовым, молодо полнеющим телом. Леля Кашина была по взглядам фрейдистка и даже напечатала книжку, называвшуюся «Эротическое у Достоевского» или что-то вроде этого. Во время прогулок она в форме всех камней и скал видела эротические символы и важным наукообразным языком объясняла остальным свои открытия. Год спустя она уехала с Евреиновым в Америку <...>

На прогулки ходили сообща, обычно под предводительством Макса. Несмотря на свою тучность, он ходил легко, быстро и неутомимо. В подпоясанной по животу рубашке, похожей на хитон, в штанах до колен, с толстыми голыми икрами коротких ног, бородатый, со шнурком в крупнокудрявых волосах, он был похож на Посейдона. Он любил Коктебель нежной любовью и старался заразить ею каждого. Каждому он хотел показать все. Мы изнемогали, поднимаясь вслед за ним на кручи, мы не осмеливались следовать за ним по каменным карнизам над бездной, где он шагал так же уверенно, как по ровному полю. Жар солнца не смущал его — он всегда ходил с непокрытой головой. Природа Коктебеля пронзительно разнообразна — за час ходьбы можно попасть и в степи, похожие на пустыни, и в скалистые горы, и в горные дубовые леса. И всюду — море. У Макса каждая отдельная местность вызывала особые ассоциации — преимущественно историко-культурные. Он часто говорил, что Коктебель напоминает ему греческие острова в Эгейском море, где он бывал в молодости. В мастерской его — так он называл свой рабочий кабинет, ибо был не только поэт, но и художник, — хранился и сейчас хранится кусок днища деревянного корабля, настолько древнего, что доски его сбиты гвоздями, сделанными из бронзы, и Макс уверял, что это обломок того самого корабля, на котором аргонавт Ясон плыл за золотым руном. Он знал названия каждой горки и каждой долинки вокруг, а если не знал, то сам выдумывал. Например, существовала долина, которая называлась Ассирия, — он уверял, что в древней Ассирии были точь-в-точь такие пейзажи. Мыс, постоянно менявший цвет, когда над ним проходили облака, он называл Хамелеоном, — название это сохранилось до сих пор. Во время одной долгой прогулки по берегу мы дошли до того места, откуда был виден сияющий вдали мыс Меганом. Я сразу же вспомнил стихи Мандельштама:

Туда душа моя стремится,
За мыс печальный Меганом,
И черный парус возвратится
Оттуда после похорон.

Мандельштам плохо расслышал название мыса, и Меганом у него превратился в Меганон.

Вообще в Коктебеле мне постоянно припоминались стихи Ман-

дельштама, привезенные им из Крыма в 1920 году. Мне казалось, что никогда еще в мировой поэзии природа Крыма не была изображена лучше и богаче, чем в мандельштамовском стихотворении:

Золотистого меда струя из бутылки текла
Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела:
— Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла,
Мы совсем не скучаем,— и через плечо поглядела.

Всюду Бахуса службы, как будто на свете одни
Сторожа да собаки. Идешь, никого не заметишь.
Как тяжелые бочки спокойные катятся дни.
Далеко в шалаше голоса — не поймешь, не ответишь.

После чая мы вышли в огромный коричневый сад.
Словно веки на окнах опущены черные шторы,
Мимо белых колонн мы пошли посмотреть виноград,
Где прозрачным стеклом обливаются сонные горы.

Я сказал: — «Виноград как старинная битва живет,
Где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке».
В каменистой Тавриде наука Эллады, и вот
Золотых десятин благородные ржавые грядки...

Проходя километры по берегу у самого прибора, я постоянно повторял про себя последнее четверостишие этого стихотворения:

Золотое руно, где же ты, золотое руно?
Целый день грохотали морские тяжелые волны.
И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно,
Одиссей возвратился, пространством и временем полный.

Так как Макс тоже постоянно сравнивал Крым с Элладой, я напомнил ему эти стихи. Но он отнесся к ним сдержанно. Он не очень любил стихи Мандельштама. Как о человеке он отзывался о нем с симпатией, но насмешливо. Он вообще не любил, когда слишком хвалили чьи бы то ни было стихи, кроме его собственных. И все же он ценил Мандельштама несравненно больше, чем Пастернака. О стихах Пастернака он говорил с откровенной враждебностью. Когда однажды на берегу

я прочел ему отрывок из Пастернака, где морская пена сравнивается с пеной на пиве, он возмущился и сказал:

— Пиво можно сравнивать с морем, а не море с пивом!

Зато о Гумилеве он всегда говорил любовно. Гумилев, как и он сам, шедший от Брюсова, был ему ближе, роднее. Он с удовольствием вспоминал, как Гумилев гостил у него в Коктебеле,— кажется, летом 1916 года. Я помню его рассказ о том, как они с Гумилевым ловили скорпионов и заставляли их пожирать друг друга.

Скорпионы водились в той самой долине, которая называлась Ассирией. Макс и Гумилев охотились там за ними и приносили их в стеклянных банках на дачу. На даче они устраивали скорпионам гладиаторские состязания. Два скорпиона—один гумилевский, другой волошинский—сажались в стакан. В стакане они вступали в драку, и сильный пожирал слабого. Так отбирались самые сильные скорпионы; потом этих силачей стравливали друг с другом, пока не оставались только сильнейшие. Победителем этого состязания оказался Гумилев—у него был скорпион, который мог пожрать любого другого скорпиона, сколько бы их не подсаживали ему в стакан.

По временам в Коктебеле устраивались веселые пиры. Инициаторами всегда были гости Макса, сам Макс и Марья Степановна участвовали в них только как гости своих гостей. За вином шагали в деревню днем всей компанией, захватив с собой множество жестяных чайников. В те времена всякий человек, отправлявшийся в далекое железнодорожное путешествие, брал с собой большой чайник, чтобы наливать его кипятком на станциях, и, следовательно, чайников у гостей Макса было достаточно. Чайники надевали за ручки на два длинных шеста, двое мужчин брали каждый шест за концы и, сопровождаемые всеми, двигались в деревню. В деревне все чайники доверху наливались молодым белым вином. Летом 1924 года крестьяне-болгары, жившие в Коктебеле, брали за кружку вина, вмещавшую полбутылки, пятьдесят копеек. На обратном пути тащить чайники было тяжело, носители шестов часто сменялись. Устраивались привалы для отдыха, садились на горячие от солнца каменные ступеньки болгарских домиков. Терпения, разумеется, не хватало, и пить начинали на этих привалах—сосали вино из носиков чайников; и на волошинскую дачу приходили уже навеселе. Приглашали Волошиных, и начинался пир. Макс и Марья Степановна, охмелев, были очень трогательны. Они садились рядом, обнимались и дружно пели:

Мой костер в тумане светит,
Искры гаснут на лету...

На этих пирах все очень сдружались, переходили на «ты». Я сам был на «ты» с Максом, несмотря на почти тридцатилетнюю разницу в возрасте.

По вечерам после ужина все население обеих дач собиралось у Макса на «вышке». «Вышкой» называлась открытая площадка на крыше дачи, куда можно было подняться по деревянной лестнице. Днем отсюда был прелестный вид на Коктебельскую бухту, на Карадаг, на окрестные холмы. Глядя с «вышки» на Карадаг, можно было заметить, что карадагская скала, обращенная к морю, напоминает своими очертаниями исполкинский профиль Макса. Сходство и впрямь было поразительное — Максин лоб, Максины глазные впадины, Максин нос, Максина борода. Макс гордился этим сходством и даже воспел его в стихах:

И на скале, замкнувшей зыбь залива,
Судьбой и ветрами изваян профиль мой.

Но по ночам с «вышки» ничего не было видно, кроме неба и моря. В лунные ночи по морю бежала серебряная дорожка, в безлунные — пропадало и море, и «вышка» казалась кораблем, плывущим среди созвездий. Несмолкаемый звон цикад доносился снизу. Мы все усаживались кругом на низеньких скамейках, устроенных вдоль перил «вышки». И начиналось чтение стихов.

Больше всего читал сам Макс. Слушать его полагалось с благоговением, и слушали с благоговением. В сущности, в этом благоговении состояла единственная плата, которую он принимал за свое гостеприимство. Если память мне не изменяет, в первое время после моего приезда на «вышке» читали свои стихи, кроме Макса, только двое — я и Евгений Ланн. Стихи у Евгения Ланна были беспомощные, малопонятные, но очень претенциозные, с каким-то харьковским шиком. Однако Макс охотно достаивал их благосклонной похвалы — так же, как и мои. Мы в своем ничтожестве не были для него соперниками, и он был к нам куда щедрее, чем к Мандельштаму и Пастернаку.

Так в то лето шла коктебельская жизнь, пока не приехал туда, в гости к Максиму, Андрей Белый. С приездом Андрея Белого многое изменилось.

Его ждали давно и с волнением. Гостей Макса волновала возможность близкого знакомства со знаменитым писателем. Макса волновала встреча со старым знакомым, которого он не видел уже восемь лет. Андрей Белый находился тогда на вершине своей славы. Он был близок

тогдашней интеллигенции, потому что пережил — начиная с 1905 года — все те наиболее типичные колебания, которые пережила она сама. Как и Блок, начал он с соловьевства. После 1905 года он выпустил «Пепел» — самую лучшую и самую реалистическую из своих стихотворных книг, полную любви к революции и ненависти к старой России. На стороне революции стоял он и в «Петербурге» <...> Да и революцию изображал он в «Петербурге» как борьбу эсеровских заговорщиков с царскими администраторами. В годы реакции он поддавался всем реакционным влияниям — главным образом мистико-религиозным. В 1914 году он мечтал о «разгроме Тевтонов», в 1916 — о революции и о мире без аннексий и контрибуций. Февральскую революцию встретил восторженно. В 1917 году развивался все влево и влево и восторженно встретил Октябрь. В начале 1918 года, в одно время с блоковскими «Двенадцатью», он написал стихотворение, в котором воспел Октябрьскую революцию:

Рыдай, буревая стихия
В столпах заревого огня!
Россия, Россия, Россия —
Мессия грядущего дня.

Октябрьская революция представлялась ему тогда событием стихийным и анархическим, и именно это ему в ней нравилось. В годы гражданской войны, в годы голода и разрухи, когда в революции стали все отчетливее проявляться организационно-государственные формы, он стал охладевать к ней. Он написал поэму «Последнее свидание», всю обращенную к прошлому, к далекой ранней юности — прелестную, полную милого юмора, в которой он изобразил свою юность куда ярче и отчетливее, чем в томах своих воспоминаний, написанных в последние годы жизни. После гражданской войны он оставил Советскую Россию и уехал за границу. Эмигрантские круги приняли его поначалу восторженно, но очень скоро выяснилось, что они ошиблись. Белогвардейская эмиграция оказалась для Белого совершенно чуждой, и он занял по отношению к ней резко враждебную позицию. Уже через год явился он в советское полпредство в Берлине и попросился назад, в Москву. Его пустили. И через несколько месяцев после возвращения он приехал в Коктебель к Максусу.

Он приехал в Коктебель не один, а с пятью дамами средних лет, пятью антропософками, пылкими его поклонницами. Имен и фамилий

их я не помню, но странное совпадение — по отчеству они все были Николаевны. Всех пятерых Николаевен поселили в первом этаже дачи Юнгов, в одной комнате, самой задней — той, которая выходит окнами в противоположную от моря сторону. Белый же занял комнату в доме Макса, выходящую на ту деревянную терраску, которая еще и до сих пор называется «палубой». До приезда Белого в Коктебеле был один центр, вокруг которого вращалось все общество, — Макс. Теперь центров стало два.

Белый, несмотря на седину и лысину, был в то время еще сухощав и крепок. Лицом он казался значительно старше своих сорока четырех лет, но тело имел совсем юношеское, очень скоро покрывшееся коричневым загаром. Ходил он быстро, легко, был подвижен, деятелен и говорлив. Говорил торопливо, с присвистом, сильно жестикулируя, и маленькие голубенькие глазки его, как буравчики, вонзались в собеседника. Вставал он рано, шел на пляж, купался в стороне от всех, потом много часов бродил по берегу, собирая камешки. Собирать камешки в Коктебеле — обычай, сохранившийся и по сей день. В те времена — а вернее, и еще раньше — были придуманы для них названия, известные только коктебельцам и до сих пор употребляемые только там: «фернам-пикс», «полинезиец», «лягушка». У многих из гостей Макса были в то лето замечательные коллекции камешков, но Белый в несколько дней обогнал всех коллекционеров. Недели через две после приезда он устроил выставку своих камешков на деревянных перилах своей терраски, и, помню, коллекция эта поразила всех любителей красотой, подбором, колличеством.

На мужской пляж он не ходил, и многое в тогдашних слишком свободных коктебельских нравах было ему, по-видимому, не по вкусу. Помню, каким раздраженным вернулся он однажды с берега моря и с каким возмущением рассказывал, как две незнакомые дамы подошли к тому месту, где он сидел, и стали раздеваться в нескольких шагах от него. Он долго не мог успокоиться, пришепывал и присвистывал от негодования, а Макс, поклонник античности и свободы, глядел на него, добродушно и хитро улыбаясь в бороду.

С женщинами Белый был учтив до чопорности. Вскоре оказалось, что он отличный и страстный танцор. Из Берлина привез он новый танец — фокстрот, о котором мы до тех пор никогда и не слышали. Он решил обучить фокстроту нас всех и в одной из больших комнат юнговского дома устроил танцевальный вечер. Явился он в красном домино, надетом на голое тело, — таком самом, как то, которое описано в его

романе «Петербург». Танцевал он стремительно, пылко, самозабвенно, и мою девятнадцатилетнюю жену явно предпочитал как партнершу всем своим пятерым антропософкам.

Антропософией он, по-видимому увлечен был сильно. Вскоре после приезда он собрал нас и прочитал нам лекцию по антропософии. Говорил он быстро, со всеми внешними признаками вдохновения, присвистывал, ходил, жестикулировал, но из его лекции я не запомнил ни одного слова, — настолько чуждо было мне все, что он говорил. В углу стояла черная школьная доска, и в пояснение своих мыслей он мелом начертил на ней круг, пронзенный стрелой. Круг должен был обозначать «бытие», а стрела — «сознание». Впрочем, не помню, может быть, и наоборот. Слушали его почтительно, но сдержанно, и лекция ни на кого, кроме Николаевен, впечатления не произвела. А Макс, тот откровенно посмеивался. Уже тогда начал чувствоваться тот разлад между Белым и Максом, который постепенно разрастался.

На вечерних собраниях на «вышке» теперь царствовал не Макс, а Белый. Макс, конечно, еще раз прочел перед Белым все те свои стихи, которые уже неоднократно читал перед нами. И Белый хвалил их учтивейше, но, видимо, не так, как хотелось бы Максу. Стихи же самого Белого принимались слушателями восторженно. И действительно, слушать его под коктебельскими звездами было большим наслаждением. Я всегда любил многие его стихи и всегда считал его поэзию гораздо выше его прозы, написанной излишне сложно, манерно, путанно, претенциозно.

Читал он на «вышке» много, охотно. Сначала свои сравнительно недавние вещи — «Королева и рыцари», «Первое свидание», — потом стихи более старые, даже времен «Пепла». Помню, как поразило меня в его чтении стихотворение «Железная дорога», написанное им давным-давно, в те времена, когда он после революции 1905 года еще пытался опереться на некрасовские традиции:

Поезд плачется. В дали родные —
Телеграфная тянется сеть.
Пролетают — поля росяные,
Пролетаю — в поля: умереть.
Пролетаю — так пусто, так голо...
Пролетают — вон там и вон здесь —
Пролетают — за селами села,
Пролетает — за всями весь; —
И кабак, и погост, и ребенок,

Засыпающий там у груди; —
Там — убогие стаи избенок,
Там — убогие стаи людей.
Мать Россия, тебе мои песни, —
О, немая, суровая мать, —
Здесь и глуше мне дай, и безвестней
Непутевую жизнь отрыдять.

Он царил на «вышке» не только стихами, но и рассказами. Говорил он не умолкая. Здесь и речи не было об антропософии, здесь он рассказывал что-нибудь забавное или страшное. Он знал множество страшных рассказов, передавал их мастерски, и на темной «вышке», освещенной лишь звездами, они звучали особенно жутко. Я все их забыл и помню только, как он свистящим шепотом повторял фразу:

— Горло перерезано, бритва на полу!

Это перерезанное горло окончательно отодвинуло Макса на задний план.

Охлаждение между Максом и Белым, исподволь нараставшее, пропало наконец наружу после того, как Белый прочел нам инсценировку своего романа «Петербург». Слушать его собрались мы после обеда у Макса в мастерской. Белый читал стоя, рассказывал под бюстом египетской богини Таиах, то кричал, то шептал, размахивал руками, вкладывал в чтение весь свой темперамент. Слушатели расположились где попало — на ступеньках деревянной лестницы, на тахте, на ковре. Макс сидел у окна, спиной к морю, за маленьким столиком, раскрыв перед собой большой альбом, разложив акварельные краски и кисточки. Слушая, он писал свои пейзажи — прелестные и талантливые. Способ его работы был удивителен — писал он их, не глядя на натуру, сидя спиной к окну. Он писал две акварели, совершенно разные, одновременно. Он макал кисточку в коричневую краску и накладывал разом все коричневые пятна сначала на левый лист альбома, где создавалась одна акварель, потом на правый лист, где создавалась вторая. Затем он брал другую кисточку, макал ее в синюю краску и на оба листа накладывал синие пятна. И на обоих листах мало-помалу возникали горы, море, степь, облака — все очень похожее на Коктебель и в то же время вовсе не изображающее какую-нибудь реально существующую часть Коктебеля.

Он слушал Белого спокойно, настолько углубившись в свои акварели, что нельзя было даже сказать, слушает он или нет. Он ни разу не показал, что чтение ему нравится. Признаться, мы все были несколько разочарованы, хотя не осмеливались это показать. Инсценировки рома-

нов редко удаются, и у Белого его «Петербург», превращенный в драму, стал бледен и ходулен.

Буря разразилась после чтения, когда началось обсуждение. Впрочем, первые выступавшие говорили комплиментарно, хотя и очень общо, — пока не выступил Макс. В его выступлении, внешне вполне корректном и очень добродушном, было несколько насмешливых колкостей. Это вывело Белого из себя. Он даже растерялся от бешенства. Перебивая Макса, он возражал ему дрожащим от обиды фальцетом и довольно невразумительно. В его выражениях были намеки на что-то давнее, нам, присутствовавшим, неизвестное и непонятное. Макс не потерял самообладания, но сильно покраснел. Леля Кашина, молодая жена Н. Н. Евреинова, стала разбирать прослушанную инсценировку с психоаналитических фрейдистских позиций, но это только еще сильнее обидело Белого, уже очень раздраженного. Антон Шварц стал возражать Леле Кашиной, объявив себя марксистом. Белый немедленно взял марксизм под защиту, — в его уме каким-то таинственным образом марксизм уживался с антропософией. Страсти накалялись, началась общая сумятица, и кончилось это тем, что Белый решил немедленно уехать и пошел укладывать свой чемодан. Все пять Николаевен вышли вместе с ним и тоже отправились укладывать чемоданы.

Ссору эту Максуду удалось ликвидировать — он объяснился с Белым наедине, и Белый остался.

Нам с женой пора было уезжать. Мы провели в Коктебеле более полутора месяцев. За несколько дней до нашего отъезда мне пришлось поговорить с Белым наедине.

Он подошел ко мне в сумерках, когда я лежал один на песке и смотрел, как зажигаются звезды. Он сел на песок рядом со мной. Для меня это было неожиданностью, — до тех пор он никогда со мной не разговаривал, между нами была слишком большая разница в возрасте. Сидя рядом со мной и глядя на звезды, он сказал:

— Сейчас установлено, что строение атома подобно строению Солнечной системы. Таким образом, мы вправе предположить, что все видимые нами созвездия — только атомы, составляющие, скажем, пятку какого-нибудь исполинского Ивана Ивановича, который сидит на балконе и пьет чай. Вот и ищи после этого смысла Вселенной...

Дней за десять до отъезда мы с женой заказали себе железнодорожные билеты в Ленинград и истратили на них все деньги, какие у нас были. На еду во время пути у нас не осталось ни копейки. В первый день путешествия в вагоне было очень жарко и есть не хо-

телось, но вечером жара спала, и голод стал мучить нас. В Коктебеле жена наварила абрикосового варенья — большую жестяную банку — и везла его с собой. За неимением ничего другого мы принялись есть это варенье.

Ели мы его и весь следующий день. Нет ничего отвратительнее, чем съесть натошак полтора-два кило приторного варенья без хлеба. Однако мы свершили этот подвиг, и когда на третий день утром приехали в Москву, банка была пуста.

В Москве нам предстояло провести целый день, так как поезд на Ленинград отходил только вечером. Голод терзал нас, нужно было перевести вещи с Курского вокзала на Ленинградский, а между тем у нас не было даже на трамвай. Я вспомнил, что у меня в Москве есть приятель, и решил зайти к нему, чтобы попросить у него кусок хлеба и рубль.

Оставив жену стеречь вещи на Курском вокзале, я пошел искать приятеля, который жил за Девичьим полем. В Москве было жарко. Мне хотелось есть и пить. Когда я дошел до квартиры приятеля, оказалось, что он на даче. На квартире была только его тетка, которой я не знал и которая меня не знала. Она отнеслась ко мне крайне недоверчиво. Я тем не менее рассказал ей о нашем положении, и она, колеблясь, вынесла мне рубль. Я наполнил воды из водопровода и побрел пешком назад, на Курский вокзал.

Рубль ушел целиком на переезд с вещами с Курского вокзала на Ленинградский. Весь день мы ничего не ели. В ленинградском поезде на соседней лавке оказалась дама с большой корзиной. Она на минуту раскрыла корзину, чтобы лучше уложить вещи, и мы среди белья увидели булки с маслом, ветчиной и сыром. Я стал деятельно ухаживать за этой дамой. На станции Клин я побежал для нее за кипятком. Она опять раскрыла корзину и, заедая булкой, стала пить чай. Чтобы отблагодарить меня, она открыла большую коробку, полную маленьких конфеток. Мы с женой взяли по одной конфетке.

В конце двадцатых годов Макс и Марья Степановна опять приезжали в Ленинград, и я виделся с ними, но помню об этом свидании мало. У Макса поседела борода, и он еще потолстел. Стихов его на этот раз я не слышал.

Я снова приехал в Коктебель через восемь лет после первого моего посещения — в июле 1932 года. Ехал я на этот раз один, без жены, и не в гости к Максy, а по путевке в дом отдыха Литфонда. К тому времени дом Макса был уже домом Литфонда, — за Волошиными оставался толь-

ко второй этаж, где помещалась мастерская Макса. Все это произошло по воле самих Волошиных. Соседний дом — дача Юнга — тоже принадлежал теперь Литфонду. Обоиными этими домами распоряжалось Московское отделение Литфонда. У Литфонда был еще и третий дом в Коктебеле — бывшая дача Манасеиной. Этой дачей распоряжалось Ленинградское отделение Литфонда, и я, как ленинградец, поселен был в ней.

Когда я проезжал через Москву, кто-то — кажется, Иван Катаев — попросил меня передать Макс, что его стихи идут в одном из ближайших номеров «Нового мира». Таким образом, я вез в Коктебель радостную для Макса весть. За последние годы Макс писал мало, и речь шла о тех самых стихах, которые я слышал в начале двадцатых годов. Они все еще не были напечатаны. Постоянная жизнь в Коктебеле, вдали от литературных центров, мешала стареющему Макс, завязать связи с крепнувшей молодой советской литературой. За восемь лет, с 1924 года по 1932-й, интеллигенция прошла огромный путь развития, а Макс, у которого, безусловно, были все данные, чтобы принять в этом развитии участие, остался в стороне, отстал, законсервированный среди коктебельских гор и пляжей.

Приехав в Коктебель, я сразу узнал, что он тяжело болен. За несколько дней до моего приезда у него был удар. Я поспешил к нему.

Макс, необычайно толстый, расползшийся, сидел в соломенном кресле. Дышал он громко. Он заговорил со мной, но слов его я не понял, — после удара он стал говорить невнятно. Одна только Марья Степановна понимала его и в течение всей нашей беседы служила нам как бы переводчиком.

При всем том он был в полном сознании. Когда я сказал ему, что стихи его пойдут в «Новом мире», лицо его порозовело от радости. Снова и снова почти нечленораздельными звуками просил он меня повторить привезенную мною весть.

Через несколько дней у него был второй удар, и он умер.

Он лежал в саду перед своим домом в раскрытом гробу. Гроб казался почти квадратным — так широк и толст был Макс. Лицо у него было спокойное и доброе, — седая борода покрывала грудь. Мы узнали, что он завещал похоронить себя на высоком холме над морем, откуда открывался вид на всю коктебельскую долину. Гроб поставили на телегу, возница стегнул лошадь, и маленькая процессия протянулась через накаленную солнцем степь. До подножия холма было километра три, но мы сделали гораздо больший путь, так как обогнули холм кругом, — с той

стороны подъем на холм был легче. И все же лошадь на холм подняться не могла, и метров двести вверх нам пришлось нести гроб на руках.

Это оказалось очень трудным делом. Макс в гробу был удивительно тяжел, а мужчин среди провожающих оказалось только пятеро — Габричевский, чтец Артоболевский, писатель Георгий Петрович Шторм и я, кто был пятый, — забыл. Солнце жгло немилосердно, и, добравшись до вершины, мы были еле живы от усталости.

Отсюда мы увидели голубовато-лиловые горы и мысы, окаймленные белой пеной прибоя, и всю просторную, налитую воздухом впадину коктейльской долины, и далекий дом Волошиных с деревянной башенкой, и даже дельфинов, движущихся цепочкой через бухту. Знойный воздух звенел от треска цикад в сухой траве. Могильщики уже вырыли яму, гроб закрыли крышкой и опустили в светло-рыжую сухую глину <...>

После смерти Макса я множество раз бывал в Коктебеле, живал там по полтора-два месяца. Могила Макса на вершине холма цела до сих пор. На ней нет ни креста, ни памятника — Макс был неверующий и считал, что памятники уродуют природу. Восхождение на могилу стало любимой прогулкой отдыхающих в Коктебеле. Они не очень ясно представляют себе, кто лежит в этой могиле, — стихи Макса известны немногим, мало кто даже слышал его имя¹. На посмертную славу ему незаслуженно не повезло, — даже весть, которую я привез ему перед его смертью, радостная весть, что стихи его будут напечатаны в «Новом мире», оказалась ложной; номер «Нового мира» вышел без его стихов. И все же могила Волошина стала местной достопримечательностью, пользующейся всеобщим уважением. Все, приезжающие в Коктебель, знают, что это могила поэта, и почтительно склоняются перед нею. Собиратели камешков на морском берегу несут к ней лучшие свои «фернамписки» и трогательно украшают ими низенькую могильную насыпь... Я даже видел военную карту-двухкилометровку восточного Крыма времен второй мировой войны, на которой есть надпись: «Могила Волошина».

А Марья Степановна жива и сейчас, когда я пишу эти строки, то есть в 1959 году. Живет она все там же, на втором этаже коктейльского волошинского дома, получая маленькую пенсию от Литфонда. Она еще крепка, деловита, разумна и держится с достоинством, подоба-

¹ Воспоминания писались до того, как вновь стали публиковаться стихи М. Волошина и книги о нем. (Прим. ред.)

ющим вдове поэта. Она верна всем заветам Макса — в ее речах живут его словечки, его симпатии и антипатии. Она, как святую, бережет его мастерскую, библиотеку, архив, она читает посетителям стихи Макса, — с теми же интонациями, с какими читал их сам Макс. Верна она и его завету гостеприимства. Каждое лето приезжают к ней старушки, бывшие коктебелки, жившие еще у Макса, и живут у нее месяцами, платя ей только одним — усердным и набожным слушанием Максových стихов.

Во время войны, в захваченном немцами Крыму, Марья Степановна вела себя превосходно. Дом ее служил явкой партизан, через нее поддерживалась связь между партизанами и подпольным крымским обкомом. Когда двадцать пять черноморских моряков, высадив десант, захватили на сутки Коктебель, они — перед смертью — нашли приют у Марьи Степановны... Это тоже был завет Макса — верность России.

И плывет дом Макса через время, как кораблик, с ветхой деревянной «вышкой», с ветшающими лестницами, балконами, перилами. Кругом кипит уже совсем другая жизнь — строятся новые дома, растут новые люди, открываются новые санатории и дома отдыха, бегут автомобили по новому шоссе, соединяющему Феодосию с Ялтой. И литература давно уже новая. И в нижнем этаже, принадлежащем Литфонду, сменяются все новые и новые жильцы. А мастерская Макса все такая же — блестят корешки книг, изданных в первое десятилетие нынешнего века, стоит гипсовая голова египетской богини Таиах, пахнет пылью, старым деревом, разохшимся на солнце. А за окнами мастерской — то, что гораздо неизменнее, чем она сама: море.

Человеку непокорно
Море синее одно:
И свободно, и просторно,
И приветливо оно;
И лица не изменило
С дня, в который Аполлон
Поднял вечное светило
В первый раз на небосклон.

Я НАУЧИЛСЯ ВАМ, БЛАЖЕННЫЕ СЛОВА...

Осипа Эмильевича Манделъштама я очень любил, всегда восхищался его стихами, считал его одним из замечательнейших русских поэтов своего времени, знаком был с ним в течение семнадцати лет, довольно

часто встречал его, но никогда не был с ним близок, — отчасти из-за разницы в возрасте, отчасти оттого, что он, со свойственной ему откровенностью, никогда не скрывал от меня пренебрежительного отношения ко всему, что я писал. Ему чужды были не только мои робкие литературные попытки, но и весь строй моих литературных пристрастий, — к Блоку он относился довольно холодно, Некрасова не любил, у Фета ценил только некоторые строчки, терпеть не мог стихов Бунина и, подобно всем акмеистам, был внутренне враждебен русской реалистической прозе. Из русских поэтов больше всего любил Пушкина, Батюшкова и Баратынского.

Когда-то учился он, подобно мне, в Тенишевском училище в Петербурге, но окончил его лет на пятнадцать раньше меня. В 1918 году он уехал из Петрограда в Крым. Впоследствии он написал об этом так:

Чуя грядущие беды, бурь приближенье мятежных,
Я убежал к nereидам на Черное море,
И от красавиц тогдашних, от тех европейнок нежных
Сколько я принял смущенья, надсады и горя.

Впервые я увидел его в конце 1920 года, когда он вернулся в Петроград из Крыма, только что освобожденного от Врангеля. Он имел возможность сбежать с белыми в Турцию, но, подобно Волошину, предпочел остаться в Советской России. Перед приходом в Крым красных он жил в Феодосии и там написал:

Недалеко до Смирны и Багдада,
Но трудно плыть, а звезды всюду те же.

В Петрограде его поселили в Доме Искусств на Мойке, 59, дали ему комнатенку возле комнаты Михаила Слонимского. Мандельштам был невысокий человек, сухощавый, хорошо сложенный, с тонким лицом и добрыми глазами. Он уже заметно лысел, и это его, видимо, беспокоило, потому что одно его стихотворение начиналось так:

Холодок щекочет темя,
И нельзя признаться вдруг, —
И меня срезает время,
Как скосило твой каблук.

Обликом он в те годы был отдаленно похож на Пушкина, — и знал это. Вскоре после его приезда в Доме Искусств был маскарад, и он явился на него, загримированный Пушкиным — в сером цилиндре, с наклеенными бачками.

По просьбе моих товарищей-тенишевцев, читавших его, я как-то раз привел его в Тенишевское училище почитать стихи, — подобно тому, как приводил раньше Гумилева. Он пришел охотно, хотя, кажется, нисколько не был растроган посещением школы своего детства. Мы все в то время знали только одну его книгу стихов, «Камень», вышедшую перед первой мировой войной. Особенной известностью пользовались те стихи из «Камня», в которых умно и красноречиво описывались знаменитые памятники архитектуры: «Айя-София», «Notre dame», «Адмиралтейство». За эти изысканные и умные стихи, написанные очень торжественным тоном, насмешники прозвали Мандельштама «мраморной мухой». Меня же эти великолепные стихи, отчетливо отразившие все основные каноны акмеизма, оставляли равнодушным. В «Камне» меня волновало другое — то, что находилось как бы на периферии этой книги. Меня удивляло точностью, простотой, ритмом и умом стихотворение Мандельштама, написанное им еще в ранней юности, в 1909 году:

Дано мне тело — что мне делать с ним,
Таким единым и таким моим?

За радость тихую дышать и жить
Кого, скажите, мне благодарить?

Я и садовник, я же и цветок,
В темнице мира я не одинок.

На стекла вечности уже легло
Мое дыхание, мое тепло...

Некоторые стихотворения «Камня» поражали меня еще одной чертой — правдивостью изображения, реалистичностью. Русские поэты первой четверти двадцатого века почти никогда не ставили перед собой задач реалистического изображения мира. Блок был чуть ли не единственным исключением, и меня поражало великолепное изображение оперного спектакля в восьмистишии из «Камня» Мандельштама:

Летают Валькирии, поют смычки.
Громоздкая опера к концу идет.
С тяжелыми шубами гайдуки
На мраморных лестницах ждут господ.
Уж занавес наглухо упасть готов;
Еще рукоплещет в райке глупец,
Извозчики пляшут вокруг костров.
Карету такого-то! Разъезд. Конец.

Но больше всего во всем «Камне» нравилось мне стихотворение «Петербургские строфы» — о дореволюционном Петербурге. Я считал, что стихотворение это — лучшее изображение Петербурга в русской поэзии со времен «Медного всадника». Начиналось оно так:

Над желтизной правительственных зданий
Кружилась долго мутная метель,
И правовед опять садится в сани,
Широким жестом запахнув шинель.

Зимуют пароходы. На припеке
Зажглось каюты толстое стекло.
Чудовищна, — как броненосец в доке, —
Россия отдыхает тяжело.

А над Невой — посольства полумира,
Адмиралтейство, солнце, тишина!
И государства жесткая порфира,
Как власяница грубая, бедна...

Это поразительное по изобразительной точности и ритмике стихотворение особенно трогало меня своим концом, где внезапно появляется Евгений из «Медного всадника» — нищий интеллигент-разночинец, противопоставленный императорскому Петербургу:

Летит в туман моторов вереница;
Самолюбивый, скромный пешеход —
Чудак Евгений — бедности стыдится,
Бензин вдыхает и судьбу клянет!

Этот образ нищего разночинца, столь чуждый снобам-акмеистам, появился в «Камне» только один раз, и еще трудно было предугадать, какое большое место суждено ему было занять в дальнейшем творчестве Мандельштама.

Из более поздних его стихотворений я в то время знал только одно — то, в котором он отрывается от «Камня»:

Уничтожает пламень
Сухую жизнь мою,
И ныне я не камень,
А дерево пою.

Оно легко и грубо,
Из одного куска
И сердцевина дуба
И весла рыбака.

Вбивайте крепче сваи,
Стучите, молотки,
О деревянном рае,
Где вещи так легки.

Мы, тенишевцы, сидели на деревянных скамейках в зале, где на переменах играли в пятнашки, а он, стоя, читал перед нами — торжественно, нараспев, задирая маленькую голову, как молодой петушок. Он объяснил нам, что русская поэзия по духу — эллинистическая и что в возврате к эллинизму лежит единственный путь ее очищения. К этим взглядам пришел он под влиянием своих крымских впечатлений, потому что в Крыму ему все напоминало Элладу. Часа два читал он нам все новые и новые стихи, в которых поминались Персефона, Пиэрия, ахейские мужи, Троя, Елена. Смысл этих стихов дошел до меня гораздо позже, а тогда я был заморожен их звуком. Мандельштам читал, подчеркивая звуковую, а не смысловую сторону стиха, и я задышался от наслаждения <... >

Помню, как поразили меня тогда два его новых стихотворения о Петербурге, написанные уже после революции. Первое из них написано было еще в 1918 году, перед отъездом в Крым, когда холодный, заморающий Петроград перестал быть столицей и стремительно пустел. Оно начинается так:

На страшной высоте блуждающий огонь.
Но разве так звезда мерцает?
Прозрачная звезда, блуждающий огонь,
Твой брат, Петрополь, умирает.

На страшной высоте земные сны горят,
Зеленая звезда мерцает.
О если ты, звезда, воде и небу брат,
Твой брат, Петрополь, умирает...

Второе стихотворение о Петрограде он написал в Крыму, при Врангеле. Оно полно тоски по родному городу:

В Петербурге мы сойдемся снова,
Словно солнце мы похоронили в нем...

Там есть воспоминания о революционном Петрограде:

Дикой кошкой горбится столица,
На мосту патруль стоит,
Только злой мотор во мгле промчится
И кукушкой прокричит.
Мне не надо пропуска ночного,
Часовых я не боюсь:
За блаженное, бессмысленное слово
Я в ночи советской помолюсь.

.

Что ж, гаши, пожалуй, наши свечи.
В черном бархате всемирной пустоты
Все поют блаженных жен крутые плечи,
А ночного солнца не заметишь ты.

В Петрограде он прожил тогда до весны 1922 года, и я встречал его в Доме Искусств и у Наппельбаумов. Из Дома Искусств он переехал в Дом ученых, где Горький дал ему комнату, и я как-то зимой был там у него. Окно выходило на замерзшую Неву, мебель была роскошная, с позолотой, круглые зеркала в золоченых рамах, потолок был высочай-

ший, со сгустившейся под ним полутьмой, в углу стояли старинные часы — величиной с шкаф, которые отмечали не только секунду, минуту и час, но и месяц, и число месяца. Манделъштам лежал на кровати, лицом к окну, к Неве, и курил, и в комнате не было ничего, принадлежащего ему, кроме папирос — ни одной личной вещи. И тогда я понял самую разительную его черту — безбытность. Это был человек, не создававший вокруг себя никакого быта и живущий вне всякого уклада.

Я вспомнил эту комнату в Доме ученых, Неву за окном и часы, отмечающие месяцы, прочитав впоследствии его стихотворение «Соломинка», казавшееся многим непонятным:

В часы бессонницы предметы тяжелее,
Как будто меньше их — такая тишина —
Мерцают в зеркале подушки, чуть белея,
И в круглом омуте кровать отражена.

Нет, не соломинка в торжественном атласе,
В огромной комнате над черною Невой,
Двенадцать месяцев поют о смертном часе,
Струится в воздухе лед бледно-голубой.

Декабрь торжественный струит свое дыханье,
Как будто в комнате тяжелая Нева.
Нет, не соломинка, Лигейя, умиранье —
Я научился вам, блаженные слова.

Всю силу его необыкновенной несопряженности ни с каким бытом я особенно ощутил летом 1922 года, когда побывал у него в Москве, на Тверском бульваре, в комнате, которую ему предоставил Дом Герцена. С этого времени начались мои более близкие с ним отношения, потому что в Москве он оказал мне большую услугу и выручил меня из беды <...>

Положение мое казалось мне ужасным¹. Во-первых, у меня не было ни одной копейки. Во-вторых, в Москве я не знал ни одного человека и мне негде было остановиться. С горя я съел банку сгущенного молока с хлебом.

¹ Н. К. Чуковский приезжал в 1922 году в Москву предлагать книжным магазинам тираж поэтического сборника «Ушкуйники», который он, один из авторов, выпустил, как издатель, в Петрограде «в кредит». (Прим. ред.)

В Москве было солнечно и очень жарко. Не зная, что предпринять, я спросил, где центр, и медленно побрел по Мясницкой. У меня не было даже несчастных двухсотпятидесяти тысяч на трамвайный билет. Да и куда ехать? Я прошел Мясницкую, Кузнецкий мост, Тверскую, заходя в книжные магазины. У меня с собой был один экземпляр «Ушкунников», я показывал его магазинщикам и спрашивал, сколько экземпляров такой книжки они могли бы купить у меня. Очень скоро мне стало ясно, что все книжные магазины Москвы не взяли бы у меня и пятидесяти экземпляров. Так что все зря — расплатиться с типографией не было надежды. Да и пятьюдесятью экземплярами я не мог располагать, потому что по своей багажной квитанции я должен был получить весь свой груз целиком, а что мне с ним делать, когда у меня не было денег даже на то, чтобы сдать его в камеру хранения. У меня не было денег даже на телеграмму маме, даже на почтовую открытку.

Днем на бульварной скамейке я пообедал — стуженным молоком с хлебом. Жара стояла изнурительная, от сладкого стуженного молока меня тошнило, хотелось пить. Я уже не искал книжных магазинов, а бесцельно бродил по бульварному кольцу из конца в конец. Долгий жаркий день погас. Я присел на скамейку на Тверском бульваре и провел на ней всю ночь.

Я дремал, сидя. Бульвар постепенно пустел. Дольше всех на бульваре оставались проститутки. Они ходили мимо меня взад и вперед, как солдаты на часах, — до фонаря и обратно. Когда они поворачивались под фонарем, серьги их вспыхивали.

Перед рассветом стало холодно, и мне захотелось есть. Я опустошил третью банку стуженного молока и швырнул ее в траву. Я доел свой хлеб. Потом положил под голову пустой мешок, растянулся на скамейке и заснул крепчайшим сном.

Проснулся я, когда солнце плыло уже высоко над крышами, почувствовав, что кто-то пристально смотрит мне в лицо. Я открыл глаза. Надо мной стоял Осип Эмильевич Мандельштам, тревожно и внимательно разглядывая меня.

Оказалось, я, сам того не зная, провел ночь как раз напротив Дома Герцена (Тверской бульвар, 25), тогдашнего литературного центра Москвы, где в левом флигеле занимал в то время комнату Мандельштам.

Несмотря на то что Осип Эмильевич знал меня довольно мало и отношения его с нашей семьей были довольно поверхностные, он, увидя меня спящим на бульварной скамейке, отнесся ко мне сердечно и участливо. На его расспросы я, со сна, отвечал сбивчиво и не очень вразуми-

тельно, и он повел меня в сад Дома Герцена, за палисадник, и усадил там меня рядом с собой на скамейку, в тени под липой.

Мы начали прямо со стихов — все остальное нам обоим казалось менее важным. Манделъштам читал много. Я тогда впервые услышал его стихотворение, которое начиналось:

Я по лесенке приставной
Лез на включенный сеновал,—
Я дышал звезд млечной трухой,
Колтуном пространства дышал...

Потом он попросил читать меня.

Я читал последние свои стихи, читал старательно, и именно так, как читал он сам и все акмеисты,— т. е. подчеркивая голосом звуковую и ритмическую сторону стиха, а не смысловую. Манделъштам слушал меня внимательно, и на лице его не отражалось ни одобрения, ни порицания. Когда я кончал одно стихотворение, он кивал головой и говорил:

— Еще.

И я читал еще.

Когда я прочитал все, что мог, он сказал:

— Каким гуттаперчевым голосом эти стихи ни читай, они все равно плохие.

Это суждение было окончательным. Никогда уже больше он не просил меня читать мои стихи.

Однако отношение его ко мне несколько не изменилось. Все так же участливо повел он меня к себе в комнату, на второй этаж.

Комната, в которой он жил, большая и светлая, была совершенно пуста. Ни стола, ни кровати. В углу большой высокий деревянный сундук с откинутой крышкой, а у раскрытого настежь окна — один венский стул. Вот и все предметы в комнате. На подоконнике рыжей горкой лежал табак. Он предложил мне свертывать и курить. <...>

Осип Эмильич отнесся к «Ушкуйникам» с полным презрением, но мой долг в 381 миллион заинтересовал и взволновал его.

— Ну, это мы сейчас уладим, — сказал он мне. — Пойдемте.

И он повел меня по раскаленным московским улицам и привел в какое-то частное контрагентство печати, помещавшееся в одной комнатке в полуподвале. Там сидели четыре нэпмана средних лет, которые, как объяснил мне Манделъштам, открыли множество книжно-газетных ларьков по станциям железных дорог, но почти не имели товара для продажи. И они тут же купили у меня мою накладную на «Ушкуйники» и сразу же заплатили мне за нее один миллиард рублей.

Крупных купюр тогда не существовало, и весь этот миллиард с трудом запахался в мой пустой заплечный мешок. И все мои горести рухнули разом. Я мог сегодня же ехать домой и расплатиться с типографией.

О журнале «Корабль» я больше не помышлял. Можно ли издавать журнал с компаньоном, который поступил со мной так подло! А чтобы издавать его одному, было мало моего миллиарда, да и после мытарств с «Ушкуйниками» затея эта мне изрядно опротивела. Я попрощался с Мандельштамом и пошел на вокзал, таща свой миллиард за плечами.

Счастливый, шел я пешком, чтобы посмотреть Москву. На всех перекрестках стояли лотки с надписью «Моссельпром», и с этих лотков женщины в белых халатах продавали папиросы, конфеты, шоколад. «Моссельпром» был государственной торговой организацией, созданной для вытеснения частников. Из всего, что было на этих лотках, меня больше всего прельщала шоколад. В предпоследний раз я ел шоколад в 1916 году, когда отец мой, вернувшись из Англии, привез нам, детям, по плитке. В последний раз я ел шоколад в 1919 году на банкете, устроенном в Доме Искусств в честь приезда Уэллса. С тех пор прошло уже около трех лет, и все это время я хранил о шоколаде смутное воспоминание, как о чем-то блаженно-вкусном. Теперь я мог себе позволить есть шоколад. На каждом перекрестке я останавливался, закидывал руку к себе за спину, на ощупь вытаскивал из мешка несколько миллионов и покупал плитку шоколада с орехами. Я съедал ее до следующего перекрестка и там покупал себе новую. Шоколад размякал от солнца и тек по пальцам, но от этого казался мне не менее прекрасным. Так я дошел до вокзала. Ночью я спокойно спал в вагоне, положив голову на свой миллиард. На другой день я получил в типографии квитанцию в уплате долга. Авторам «Ушкуйников» я, к величайшему их удивлению, выдал гонорар. Остальные деньги отдал матери.

Потом я встречался с Мандельштамом на протяжении еще пятнадцати лет. Он то пропадал на многие месяцы и даже годы из моего поля зрения, то возникал опять. У него никогда не было не только никакого имущества, но и постоянной оседлости, — он вел бродячий образ жизни. Он приезжал с женой в какой-нибудь город, жил там несколько месяцев у своих поклонников, любителей поэзии, до тех пор, пока не надоедал им, и ехал в какое-нибудь другое место. Так жила он в Тбилиси, в Эривани, в Ростове, в Перми. Конечно, немало жил он и в Москве. Не раз приезжал он и в Ленинград. Я встречался с ним главным образом в Ленинграде.

<...> В Ростове он несколько месяцев гостил у одной своей поклонницы, которая, заметив, что он забнет, одолжила ему свою шаль; уезжая

в Москву, он захватил эту шаль с собою. Ростовская любительница поэзии страшно возмутилась, писала на него жалобы в союз писателей, но шали назад не получила. Все эти и подобные происшествия свидетельствовали вовсе не о стремлении Манделъштама к обладанию чем бы то ни было, а о совсем обратном: о полном равнодушии к любому имуществу. Он вспоминал о предмете только тогда, когда этот предмет становился ему необходимым.

Миша Слонимский рассказывал мне, как Манделъштам, зайдя на несколько минут к нему в комнату, забыл у него свой паек — хлеб и крупу. Миша берег этот паек несколько дней, уверенный, что Манделъштам спохватится и вернется. Но Манделъштам не приходил, и хлеб уже начал плесневеть. Тогда Миша понес паек к Манделъштаму. Манделъштам удивился от всей души.

— Я не зашел, потому что не сомневался, что вы сразу же все съели, — объяснил он.

Так же относился он и к деньгам. Он всегда был крайне беден, и каждый день в обеденный час начинал думать о том, где бы достать несколько рублей, чтобы пообедать. И эти рубли он брал у любого встречного, где приходилось. Долгов же он не отдавал никогда просто потому, что если в руки ему попадали деньги, они были ему остро необходимы все для той же цели — сегодня пообедать.

Рассказывали про него и такой случай. Однажды Ленинградский Дом Ученых постановил выдавать на похороны каждого своего члена, в случае смерти, пособие в размере 150 рублей и вывесил об этом объявление. Манделъштам почему-то был членом Дома Ученых, хотя никакими науками никогда не занимался. Прочитав объявление, он явился в канцелярию Дома Ученых и попросил выдать ему сто рублей, предлагая дать расписку, что после его смерти его наследники будут просить на похороны только пятьдесят.

— Деньги гораздо нужнее живому, чем мертвому, — сказал он.

Помню, Бенедикт Лившиц с возмущением рассказывал мне, как Манделъштам присвоил причитавшийся ему гонорар. Он попытался по этому поводу объяснить с Манделъштамом, но Манделъштам не только не признал себя виновным, но страшно обиделся, хотя действительно взял в издательстве деньги Лившица и вовсе не собирался их возвращать. Дело было так: Манделъштам и Лившиц, два старых друга, подрядились для московского издательства «Земля и фабрика» отредактировать собрание сочинений Вальтера Скотта и заключили на этот труд совместный договор. Все это, конечно, был только предлог для получения денег, так как ни тот, ни другой английского языка не знали и Скотта редактировать не могли. Они просто расклеивали старые переводы

и кое-где наугад меняли некоторые фразы. В процессе этой работы между ними образовались сложные расчеты, подробностей которых издательство не знало. И Мандельштам, живший в то время в Москве и имевший возможность посещать издательство гораздо чаще, чем Лившиц, живший в Ленинграде, получил не только все деньги, причитавшиеся ему самому, но и часть денег, причитавшихся Лившицу. Характерно, что в результате всей этой истории не Лившиц обиделся на Мандельштама, а Мандельштам на Лившица. И обиделся совершенно искренне. Постоянно нуждаясь в деньгах, он в то же время от души презирал деньги и возмущался, когда люди придавали денежным расчетам какое-нибудь значение.

Он был полон чувства собственного достоинства и самоуважения и очень обидчив. Обижаясь, он по-петушиному задира маленюкую свою голову с перышками редеющих волос, выставлял вперед острый кадык на тощей плохо бритой шее и начинал говорить об оскорбленной чести совершенно в староофицерском духе. Чтобы яснее стало это его свойство, я расскажу о его столкновении с писателем Сергеем Бородиным в конце двадцатых годов.

Сергей Бородин, в те давние молодые свои годы подписывавшийся псевдонимом Саргиджан, жил, как и Мандельштам, в Доме Герцена на Тверском бульваре. Мандельштам он знал мало, и поэтому, когда Мандельштам попросил у него займы пятьдесят рублей, он полагал, что через несколько дней получит свои деньги назад. Однако дни шли за днями, а Мандельштам денег не возвращал. Это сердило Бородина, и он, несколько раз встречая Мандельштама, напоминал ему о долге. Наконец, потеряв терпение, он пошел к Мандельштаму объясняться.

Он явился к нему в комнату, но застал одну Надежду Яковлевну. Она объяснила, что мужа нет дома. Бородин сначала спокойно, а потом все более и более раздражаясь, стал требовать у нее свои пятьдесят рублей. Надежда Яковлевна сказала, что ничего об этих деньгах не знает и что ему следует говорить не с ней, а с Осипом Эмильевичем. Однако Бородин, все более сердясь и повышая голос, не уходил и требовал денег.

В эту минуту в комнату вошел Мандельштам.

Он сразу же запальчиво накинулся на Бородина и потребовал, чтобы тот перестал оскорблять его жену. А Бородин потребовал пятьдесят рублей. Мандельштам и слышать не хотел ни о каких деньгах, он говорил все громче, что Надежда Яковлевна оскорблена, и настаивал, чтобы Бородин немедленно удалился. Бородин уходит без денег не собирався. Страсти накалялись. Кончилось это дракой. Два умных человека — плотный коротенький Бородин и сухопарый Мандельштам — тузи-

ли друг друга, а Надежда Яковлевна кричала. Окно в садик Дома Герцена было открыто, прибежали люди и растащили дерущихся.

Это глупое происшествие имело длинное продолжение. В Доме Герцена был устроен товарищеский суд над Бородиным и Мандельштамом. На разбирательстве дела присутствовало человек триста. Председателем суда и главным судьей выбрали Алексея Николаевича Толстого.

Начали с выслушивания объяснений обвиняемых. Бородин заявил, что он знает ничего не знает, что он никого не оскорблял, что не он начал драку, и просит суд заставить Мандельштама вернуть ему пятьдесят рублей. Мандельштам в своих объяснениях ничего не говорил о пятидесяти рублях, считая их несущественной мелочью, не имеющей никакого отношения к делу. Запальчиво и обидчиво он кричал об оскорблении, нанесенном его жене. Он объявил, что если суд строжайшим образом не накарат Бородина, он будет считать председателя суда таким же оскорбителем Надежды Яковлевны, как самого Бородина.

Алексей Толстой старался вести дело к примирению. Возможно, он и достиг бы этого, если бы не присущее ему чувство юмора. Он несколько раз мягко пошутил, показав тем самым, что считает все происшествие крайне незначительным. Мандельштам, торжественно относившийся к вопросам чести, счел это новым оскорблением. Он заявил, что за оскорбление, нанесенное ему председателем суда, он расплатится, как найдет нужным. И, высоко задрвав голову, вместе с женой покинул заседание.

Месяца через два, в Ленинграде, он дал Алексею Толстому пощечину. Случилось это в Издательстве писателей, в бухгалтерии, в платежный день. Издательство Писателей помещалось в Гостином Дворе, и его бухгалтерия занимала небольшую комнату, густо заставленную конторскими столами. В платежный день там было полно. Алексей Толстой, рослый, грузный, в пышной шубе и потому занимавший очень много места, расписывался, склоняясь, в гонорарной ведомости. Мандельштам подошел к нему сзади и ударил его по правой щеке. В истории пощечин это была первая и единственная пощечина, нанесенная сзади.

На этом вся цепь нелепостей кончилась, потому что Толстой отнесся к происшедшему со спокойствием умного человека.

Когда в 1913 году Мандельштам написал: «Самолюбивый, скромный пешеход — чудак Евгений — бедности стыдится, бензин глотает и судьбу клянет!», он изобразил самого себя. Это он и был всю жизнь самолюбивым пешеходом. Он вырос в императорском Петербурге среди военных парадов и карет с гербами, но отец его был мелкий торговец кожей, и ни к парадам, ни к гербам маленький Осип не имел никакого отношения. Он правдиво и точно написал об этом в стихотворении двадцатых годов «Лэди Годива»:

С миром державным я был лишь ребячески связан,
Устриц боялся и на гвардейцев смотрел исподлобья,
И ни крупницей души я ему не обязан,
Как я ни мучил себя по чужому подобию.

С важностью глупой, насупившись, в митре бобровой
Я не стоял под египетским портиком банка,
И над лимонной Невою под хруст сторублевой
Мне никогда, никогда не плясала цыганка.

Литературную деятельность он начал вместе с акмеистами — поэтической школой, наиболее отчетливо выражавшей эстетические взгляды господствующих классов предреволюционной России. Но он всегда болезненно и самолюбиво ощущал свою несопряженность с окружающим его миром. В отличие от многих своих друзей он приветствовал Октябрьскую революцию. Революция казалась ему страшной, грозной, но великой и достойной прославления. И он прославил ее.

Прославим, братья, сумерки свободы,
Великий сумеречный год.
В кипящие ночные воды
Опущен грузный лес тенет;
Восходишь ты в глухие годы —
О солнце, судия, народ.

Прославим власти роковое бремя,
Которое в слезах народный вождь берет.

.

Прославим власти сумрачное бремя,
Ее невыносимый гнет.
В ком сердце есть, тот должен слышать, время,
Как твой корабль ко дну идет.

Мы в легионы боевые
Связали ласточек — и вот
Не видно солнца; вся стихия
Щебечет, движется, живет;
Сквозь сети — сумерки густые
Не видно солнца и земля плывет.

Ну, что ж, попробуем; огромный, неуклюжий,
Скрипучий поворот руля.
Земля плывет. Мужайтесь, мужи.
Как плугом океан деля,
Мы будем помнить и в летейской стуже,
Что десяти небес нам стоила земля.

Но он оказался так же мало сопряжен с миром революционным, как и с миром минувшим. Он был несопрягаем ни с каким бытом, ни с каким общественным укладом, ни с какой государственностью. Он понимал это и называл себя «разночинцем».

Мы разночинцы,
Мы все умрем, как пехотинцы,—

писал он в одном из своих поздних стихотворений. В этих словах была и горечь, и гордость. В одной из своих статей он писал, что ему, как разночинцу, чужды сочинения, основанные на семейных преданиях вроде аксаковского «Детства Багрова-внука», потому что у разночинца нет семейных преданий, нет никакого прошлого, кроме книг, которые он прочел.

Я — трамвайная вишенка страшной поры,—

написал он о себе вскоре после окончания Гражданской войны.

Стихи свои ему удавалось печатать редко. В 1928 году он выпустил сборник «Стихотворения». Тираж этой книжки — 2000 экземпляров. В тридцатые годы он напечатал в журнале «Звезда» цикл изумительных стихотворений об Армении. Стихи его усердно переписывались и заучивались наизусть любителями поэзии, но в печати откликов не получали. Читатели его любили страстно, но это были читатели только из среды наиболее образованных слоев интеллигенции. Слишком большие требования к поэтической культуре читателя предъявлял его стих. Как многие русские поэты первой трети двадцатого столетия, он был лишен величайшего счастья — говорить сложным и мудрым языком подлинной поэзии и в то же время быть народным, быть любимым и понимаемым миллионами русских людей. Это счастье в указанную эпоху оказалось доступным только двум поэтам — Блоку и Маяковскому. Манделштам был великий русский поэт для узенького интеллигентского круга. Он станет народным только в тот неизбежный час, когда весь народ станет интеллигенцией.

В последнее десятилетие своей жизни он внешне уже несколько не походил на Пушкина. В 1928 году Горький вернулся в СССР; ленинградские писатели по инициативе Федина решили в его честь своими силами разыграть пьесу «На дне». Федин пригласил принять участие в этой затее и Мандельштама, жившего тогда в Ленинграде.

— А разве там есть роль сорокалетнего еврея? — спросил его Мандельштам.

Он был дурно одет — в одежду с чужого плеча — и потерял почти все зубы. Он вставил себе новые зубы — на золотых штифтах, — но вставленные зубы скоро выпали, а штифты остались и покривились.

— У него во рту — индустриальный пейзаж, — говорил мой друг Валья Стенич, страстный поклонник стихов Мандельштама.

Стеня, Осип Эмильевич обычно не пользовался пепельницей; пепел с папиросы он стряхивал себе за спину через левое плечо. И на левом плече его всегда собиралась горка пепла. Портился его характер, росла обидчивость, он все чаще находился в нервном, тревожном состоянии духа. Помню, я навестил его как-то летом, когда он жил в Царском Селе. Он поразил меня своей нервностью, душевной угнетенностью. Он очень много говорил, то вскакивал, то садился; иногда он вдруг опускал голову на стол, и, когда поднимал ее, в глазах его стояли слезы.

В тридцать пятом или тридцать шестом году, осенью, в дождь, я как-то возвращался из Москвы в Ленинград. На Ленинградском вокзале в Москве я увидел Мандельштама, сидевшего рядом с женой на потертом чемодане. Чемодан был маленький, и, затерянные в огромном зале, они сидели, тесно прижавшись друг к другу, как два воробья. Я подошел к ним, и в глазах Мандельштама блеснула надежда. Он спросил, каким поездом я еду. Я ехал Стрелой.

— А мы на час позже, — сказал он. — Мы пошли бы посидеть в ресторан, но...

Я понял его и дал ему пятьдесят рублей.

<...> Вскоре <...> он написал стихотворение, полное удивительного человеческого достоинства:

Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей,
Запихай меня, лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей,

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе,
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первобытной красе.

Уведи меня в ночь, где течет Енисей,
Где сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет.

Но выслали его поначалу не в Сибирь, а только в Воронеж. Выслали его без всякой вины, а просто так, потому что он был

Как беззаконная комета
Среди расчисленных светил.

Он, постоянно кочевавший из города в город, мог бы жить и в Воронеже, но беда заключалась в том, что там у него не было никаких средств к существованию. Пользуясь слабостью надзора, гонимый голодом и тоской, он несколько раз сбежал оттуда в Москву и однажды добрался даже до Ленинграда. Тут я видел его в последний раз в жизни.

Днем мне позвонил мой друг Стенич и попросил вечером прийти к нему. Жил он тогда на Канале Грибоедова, 9, в маленькой двухкомнатной квартирке. Там я застал, кроме Стенича и его жены, Мандельштама с Надеждой Яковлевной и Анну Андреевну Ахматову. Мандельштам был в мохнатом темно-сером пиджаке, который ему за час перед тем подарил Юрий Павлович Герман. Пиджак этот был очень велик и широк Мандельштаму, из длинных рукавов торчали только кончики пальцев. Поначалу Мандельштам был молчалив и угрюм, да и все молчали. Стенич сделал попытку почитать стихи из только что тогда вышедшей «Второй книги стихов» Заболоцкого; он читал, восхищаясь, но Ахматова слушала сдержанно, а Мандельштам, со свойственной ему прямо-той, сказал, что ему не нравятся ни прежние стихи Заболоцкого, ни новые. Он стал просить Анну Андреевну почитать что-нибудь. Она неохотно и без подъема прочла «Мне от бабушки-татарки были редкостью подарки», — стихотворение, которое мы все хорошо знали. Хозяева повели нас в соседнюю комнату к столу. Стол был не роскошен, но на нем стояло несколько бутылок красного вина.

Выпив вина, Мандельштам оживился. Мы попросили его читать стихи, и он читал много, увлеченно, всю долгую угрюмую ленинградскую ночь напролет, все больше и больше одушевляясь. Он почти пел их, наслаждаясь каждым звуком, и мохнатые рукава его, как мягкие ласты, плыли в воздухе над столом.

На другой день он уехал <...>

А я навсегда запомнил одно из самых последних его стихотворений, которое он читал нам в ту ночь у Стенича:

Жил Александр Герцович,
Еврейский музыкант,
Он Шуберга наворачивал,
Как чистый бриллиант,

И всласть с утра до вечера,
Заученную в хруст,
Одну сонату вечную
Играл он наизусть.

Что, Александр Герцович,
На улице темно?
Брось, Александр Сердцевич,
Чего там! Все равно...

Пускай там итальяночка,
Покуда снег хрустит,
На узеньких на саночках
За Шубертом летит.

Нам с музыкой, — голубою,
Не страшно умереть.
А там — вороньей шубою
На вешалке висеть.

Все, Александр Герцович,
Заверчено давно,
Брось, Александр Скерцович,
Чего там... Все равно.

СОДЕРЖАНИЕ

Что я помню о Блоке	3
Владимир Маяковский	10
Салон Наппельбаумов	16
Коктебель	26
Я научился вам, блаженные слова...	45

Николай ЧУКОВСКИЙ
ПРАВДА И ПОЭЗИЯ

Редактор А. Е. Басманов

Технический редактор Т. Я. Ковынченкова

Сдано в набор 31.12.86. Подписано к печати 03.03.87. А 00336. Формат 70 × 108^{1/2}. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,80 Учетно-изд. л. 3,71. Усл. кр.-отг. 2,98.
Тираж 80000. Изд. № 923. Зак. № 4314. Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

СТРАХОВАНИЕ ДОМАШНЕГО ИМУЩЕСТВА

● Ваше домашнее имущество может быть застраховано на любую сумму в пределах его действительной стоимости.

● Страхование обеспечивает возмещение ущерба при повреждении или гибели имущества в результате пожара, наводнения, бури, ливня и других стихийных бедствий, аварий отопительной и водопроводной сетей, а также при его похищении. Выплата страхового возмещения производится в размере причиненного ущерба, но не выше суммы, предусмотренной в договоре страхования.

● Договор страхования можно заключить на срок от одного года до пяти лет включительно или на срок от 2 до 11 месяцев. Плата за страхование невелика и зависит от местонахождения имущества и категории строений. Платеж можно внести в момент заключения договора, а также путем безналичного расчета через бухгалтерию по месту работы.

● При оформлении договора страхования на 3 года и более предоставляется скидка с исчисленной суммы в размере 10%.

Уважаемые товарищи!

● Для оформления договора страхования домашнего имущества обращайтесь, пожалуйста, к обслуживающему Вас по месту работы страховому агенту или в инспекцию Госстраха.

ГОССТРАХ РСФСР